

ISSN 0012-6756



Дружба народов

6/2025



В номере:

Что происходит со временем?..

«Мы, недавние москвичи, “перебежчики” из Петербурга-Ленинграда, ходили знакомиться и любоваться Москвой. Нам нравилось всё: кривые улицы с горками и спусками, невиданные в Питере, старомосковские особнячки с фамильными вензелями, путаница Басманных переулков ...» В повести Алексея ИВАНОВА «Формула московского утра» герои путешествуют во времени и обстоятельствах прошлой жизни, в перипетиях политики (как же без этого в среде русской интеллигенции!) внутренней, внешней и мировой. «Ускорилося время, и вот уже гвардейские офицеры, напившись вина, идут под командованием Николая Зубова и Леонтия Беннигсена по гулким коридорам Михайловского замка мимо караульных, для которых время замедлилось, а бедный, бедный Павел в ночной сорочке прячется за портьеру... Утро поплыло над Москвой...»

«Всё во мне, и я во всём»

«...Грустной красотой, печалью одиночества, горьким привкусом отрешённости повеяло от заброшенного жилища. ...Под банкой со свечой — пожелтевший листок в клеточку. Записка: “Добро пожаловать, добрый человек! Располагайся, отдыхай. Будешь уходить, не забудь прикрыть дверь”. Хозяин давно покинул хижину, скорее всего, его уже и среди живых нет, а приглашение осталось. Приятно быть добрым человеком, которому доверяют, приглашают отдохнуть. Хотя бы и с того света...» Рассказ Николая ВЕРЁВОЧКИНА «Хижина в ореховой роще» — о полноте и хрупкости жизни. Акварельное письмо отправляет к Паустовскому и Казакову.

«и радость есть... и счастье ещё будет»

Лирические миниатюры Алексея АЛЁХИНА — афористичные, лёгкие, звонкие, как «ноты из воздуха», — о творчестве, о судьбах людей и жизни, которая не меньше, но и не больше, чем «вдох выдох вдох».

Стихи о любви пишут Евгений ДЬЯКОНОВ: «ты любила/ цветы полевые... / мне по нраву/ цветы — болевые», — и Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ: «Люблю — такое маленькое слово».

Казахстанский поэт Заир АСИМ в своих философских верлибрах раздумывает «о жизни памяти» и делает парадоксальный вывод: «воспоминания даны чтоб не помнить».

...в «лихие 90-е»

Две картинки из калейдоскопа.

«Просмотр “Санты-Барбары” стал частью повседневной жизни, три дня в неделю — в среду, четверг и пятницу (а затем и чаще) — после новостей спешили москвичи к телевизору. Появились анекдоты. Жена говорит мужу: “Я уеду жить в Санту-Барбару!” “Да ты же языком не владеешь! Как ты там будешь?” — “Зато я там всех знаю!”» Сериал шёл на канале РТР с 1992-го по 2002 год.

В 1998-м на Таганке Юрий Любимов ставит спектакль по роману Солженицына «В круге первом». Премьера совпала с 80-летием автора. «Здесь же, в театре, Александр Исаевич заявил, что отказывается принять высшую награду страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного: “От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу”».

«Культура “лихих 90-х” тем и отличается от культуры эпохи застоя или оттепели, что её очень сложно структурировать, — утверждает Александр ВАСЬКИН. — Повседневная жизнь была частью этой культуры».

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.04.2025.
Подписано в печать 22.05.2025.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН





СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей АЛЁХИН. Вдох выдох вдох. <i>Стихи</i>	3
Алексей ИВАНОВ. Формула московского утра. <i>Повесть</i>	6
Владимир СУХОРЕБРЫЙ. Сонет. Шекспир. Венок. <i>Рассказ с грузинским акцентом</i>	44
Евгений ДЬЯКОНОВ. ...И счастье ещё будет. <i>Стихи</i>	58
Вадим ГАЛКИН. Добрые нелюди. <i>Рассказ</i>	62
Андрей ТЕМНОВ. Эол. <i>Рассказ</i>	76
Николай ВЕРЁВОЧКИН. Хижина в ореховой роще. <i>Рассказ</i>	88
Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ. Такое маленькое слово. <i>Стихи</i>	110
Михаил БАЛАБИН. Правильно — любить. <i>Рассказы</i>	113
Ирина БАРАБАНОВА. Дитё Советского Союза. <i>Рассказы</i>	132
Анна ПЕСТЕРЕВА. Два рассказа	143
Анна БЕЗУКЛАДНИКОВА. Тетрис. <i>Рассказ</i>	153
Заир АСИМ. О жизни памяти. <i>Стихи</i>	163

ПРОЗА. ДОС

Игорь КЛЕХ. Книга старости. <i>Главы из парадоксальной повести</i>	166
--	-----

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Наталья САЛТАНОВА. Два рассказа	185
---------------------------------------	-----

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

Багдат ТУМАЛАЕВ. В тени бога. <i>Миниатюры</i>	191
--	-----

НАЦИЯ И МИР

Алёна ТИМОФЕЕВА. Театральные перекрёстки Алматы	193
---	-----

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Нина ОРЛОВА-МАРКГРАФ. На всхожем солнце. <i>Этнографическая повесть.</i> <i>Избранные главы</i>	197
--	-----

ПРОСТО ЖИЗНЬ

Александр ВАСЬКИН. «Санта-Барбара» 90-х. <i>Беглые заметки</i> <i>о духовной жизни общества</i>	212
--	-----

NON-FICTION PRO

Александр ЧАНЦЕВ. Анархи, хаоты и суфийский катехон	242
---	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Кто сегодня знаменитый?	263
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Дон Кихот из Рыбинска	268
---	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Хижина в ореховой роще. <i>Фотоохота Николая Верёвочкина</i>	
--	--

Алексей Алёхин

ВДОХ ВЫДОХ ВДОХ

Притча о новых людях

...вкусив сытости и воли
обменяли всё достояние своё на игрушки
и убежали от Бога как дети от родителей

зная что те их всё равно разыщут

Наука любви

путеводитель по женщине прочитал до конца
и всё равно заблудился

в бретельках и кружевах
в туманной как облако линии бедра
в азиях на подоконнике

отчего у них такое самоуверенное лицо
когда входят в спальню
с выглаженным бельём в руках?

огрызок Евиного яблока
так и валяется в Раю на боковой дорожке

вот приду и поддену ногой

Алёхин Алексей Давидович — поэт, эссеист, критик. Родился в 1949 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор более десяти книг стихов и поэтической прозы. Основатель и главный редактор первого русского поэтического журнала «Арион» (1994—2019). Лауреат премии «Петрополь» (2004), премии журнала «Новый мир» (2013) и др. Живёт в Москве.

Это с тобой

я понял
число звёзд на небе нечётное

иначе небо было бы можно поделить
пополам

Предвкушение концерта

сад уже надушился вечерними духами

ноты из воздуха усеяли чёрными точками лопух
электричка пробует голос

багровый край светила рухнул за дальние сирени
как люстра в мюзикле

на тёмных хорах речитативом заскрипели птицы
заведённые басовым ключом

им тихо рукоплещут липы

Двери закрываются

увидев человека с собакой на поводке
улыбнись собаке

моё отражение
так и застряло в тёмном бабушкином зеркале
когда та была жива

а помнишь как мы увязли в небесах
и шлёпнулись оттуда в расстеленную простынь?

это из учебника английского:
Mr. Smith and Mrs. Smith went for a long walk

закатный свет не похож на утренний

напоследок мелькнёт ещё в окнах что-то светленькое
вроде халатика медсестры

берёзе надоело расти и она засохла

Творчество

а внутри тебя заведётся мраморный человек

толкается твёрдым локтем под ребро
и раздвигает грудь

а после выйдет как через кирпичный проём
из разрушенного дома

с оббитыми руками
без головы

только широкоплечий торс и шагающие ноги

и сверху окаменелые облака

Вдох выдох вдох

уличные словечки разлетелись как воробы
рабочие закапывают трубы в землю

вот маляры придут и перекрасят небо

Осенняя уборка

старик причащает сад к зиме
не зная увидит ли летом

пусть ему снег будет пухом

Светопредставление

на чёрном беззвёздном небе
загорается огромными белыми буквами

КОНЕЦ

и все выходят из зала

Алексей Иванов

Формула московского утра

Повесть

...И в сердце входит медленная пуля.

С.В. Петров

Жена спала, трогательно свернувшись калачиком. Я пожалел, что отворил дверь, потому что она почти сразу, хоть я и старался не шуметь, открыла глаза.

— Ты хочешь идти гулять? Я с тобой! — Она спустила ноги с кровати.

Во дворе старый бомж мыл бутылки. Он извлекал их из необъятного мешка и держал под журчащим ручейком, бежавшим из ржавой трубы, высунувшейся сквозь забор, окружавший детский сад. Чистые бутылки стояли длинными разнокалиберными рядами, но мешок был по-прежнему набит. Я, по обыкновению, кивнул ему, но он почему-то не ответил. Видимо, решил, что мне, идущему с интеллигентной дамой, не к лицу или западло быть знакомым с бомжом. Тем более утром, когда он ещё не успел умыться вот тут же, под струёй воды, светящимися на солнце брызгами разлетающейся под коричневыми корявыми ладонями.

— Он похож на грузина, — сказала жена.

— Может быть, — сказал я и перевёл разговор.

Мне не хотелось, чтобы он был похож на грузина. Хотя на самом деле он напоминал моего дядю Шалико, когда тот мыл бутылки, подставляя их под журчащий ручёк, бегущий с горы по деревянному жёлобу. Гора эта, на вершине которой, там, где начинался альпийский луг и пасли коров и овец, всегда казалась мне не очень высокой и безобидной. Пока я не узнал, что однажды с неё сошла лавина и медленно, но с какой-то мрачной молчаливой силой сдвинула с фундамента старый, построенный ещё прадедом дом, навалившись на стены, выдавила окна, заползла внутрь и постепенно разрушила: по старым

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор романов, в т.ч. «Опыт № 1918» (М., ArsisBooks, 2019; первая публикация: «ДН», 2017, №№ 5—7), нескольких книг повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Крестословица» (2024, №№ 8—9).

штукатуренным бокам пошли трещины, снег, утрамбованный и твёрдый, как камень, втиснулся в нижний этаж, поднялся по треснувшей стене вверх и обрушил его. Хорошо, старики — мрачноватый, чёрный, похожий на насупившегося беркута Шалико и голубоглазый, весёлый Ваню — не дожили до этого дня.

Мы вышли на проспект Сахарова, несостоявшийся Новокировский, поднялись по Садово-Спасской вверх до Красных ворот и перешли улицу на сторону Министерства железнодорожного транспорта. Точнее — на Новую Басманную. К храму, построенному по рисунку-проекту Петра I. Говорят, Пётр ездил в Преображенское именно по Новой Басманной, а не по Покровке и Старой Басманной. Мы любили этот храм. Я — за лёгкость архитектуры и галерею на втором этаже, жена — за намоленность, шапочку Митрофания Воронежского, который ей был почему-то особенно близок. Мне удалось как-то купить редкую икону Митрофания Воронежского. Я подарил жене, а она позже отдала её, с моего ведома, в храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Басманной слободе. С условием, что икона будет висеть неподалёку от ниши со стеклом, где хранилась шапочка свт. Митрофания. Конечно, как я и предполагал, икону и не подумали повесить, но в храм мы иногда ходили.

Солнце с трудом пробивалось сквозь довольно плотный туман. Колокольня храма куталась в разведённом небесном молоке, но солнце добралось до золотого навершия колокольни. Это напоминало импрессионистов. Красавица-башня выныривает из белёсого полупрозрачного тумана и плывёт, сверкая солнечным золотом. Может быть, так и представлял её Пётр? Солнечная сторона улицы была явственно отделена от теневой. Там, слегка смазанные туманом, шли одно за другим строения Куракинского шпиталья, первого в России странноприимного дома, богадельни, где в скоромные дни давали мясо и птицу, а в постные — рыбу. И по праздникам, а их было поболее двухсот в году, кормили до пятисот московских нищих. Рядом с Куракиными — Демидовы, Головины, Голицыны, Трубецкие, золотопромышленник-эстет Н.Д.Стахеев. И все не случайно, не папрасно, — строились на века и жили веками.

Мы, недавние москвичи, «перебежчики» из Петербурга-Ленинграда, ходили знакомиться и любоваться Москвой. Нам нравилось всё: кривые улицы с горками и спусками, невиданные в Питере, старые деревья, то похожие на зелёный взрыв среди улицы, то будто нарисованные каким-нибудь английским графиком вроде Обри Бердслея, старомосковские особнячки с фамильными вензелями, пусть даже и уродливо надстроенные в советские времена, путаница Басманных переулков, где можно встретить... вот карета с гербом князей Куракиных четвернёй и с двумя дылдами за запятках или изысканная коляска Голицыных. Распахиваются парадные въездные ворота, лакей в бакенбардах и парике встречает коляску и бежит рядом, чтобы успеть откинуть ступеньку. Запах сирени из сада, запах здоровых, разгорячённых коней, чистейшего дёгтя и драгоценных парижских духов...

Новая Басманная любила играть с нами. То, если смотреть с солнечной стороны, обернётся старой, мощённой булыжником мостовой, то прокатят мимо Голицынской усадьбы комиссары в кожанках на лакированном «Линкольне»

из царского гаража, то мне самому захочется заглянуть, кто же так торжественно прибыл в карете четвернёй... Человек в парике галантно подаёт руку даме, помогая выйти из кареты, я вижу свежую девичью щёчку, крутые кольца парика и нежный, словно чуть задыхающийся голос. Ах, Новая Басманная, всякий раз приоткрывающая свою исчезнувшую жизнь! Дом Мусина-Пушкина, который называют домом Брюса. Конечно же, того самого, колдуна Брюса. Впрочем, сам Брюс в этом доме никогда не бывал. Из видимых тайн осталась лишь таинственная мраморная доска от солнечных часов с «вечным» календарём и едва видимые буквы тайнописи, учинённой аббатом Адрианом Сюригом, которые до сих пор никто не прочитал. Дом со стороны кажется мёртвым. А как можно выжить, когда в тебя (1812 год!) вселяются французы и, поражаясь богатейшему убранству (дикая страна!), бродят по залам, украшенным золочёной резьбой, рассматривая дивные картины, постреливая в них, испражняясь в изумительной красоты и цены китайские вазы и поджигая (шутка, господа!) драгоценные гобелены на стенах. Дом не ожил после французов, хотя и впустил в себя 2-ю московскую гимназию, военный госпиталь Красной армии, потом Дом Красной Армии, индустриально-педагогический институт им. Карла Либкнехта, а с военного 1943 года — Московский строительный университет, в девичестве МИСИ им. Куйбышева. Особняк-дворец хотел смириться (примириться?) с этой жизнью, но она неслась быстрее старого дома: переворот вышвырнул гимназию и разместил красных командиров. Почему-то сразу сломались перила красного дерева, почернели и раскололись ступени на мраморной лестнице и подсолнечная шелуха вперемешку с остатками самокруток покрыла наборный паркет, заказанный Мусиным-Пушкиным у итальянских мастеров. Итальянские же мраморы-скульптуры исчезли из дома как-то сами собой, словно поняв, что им тут уже не место. Оставались ещё привезённые из Рима антики — барельефы на мраморных досках, но при очередном коменданте, задумавшем ремонт, и они исчезли. Ремонт тоже не состоялся. А позже, когда в дом вселились архитекторы, особняк показался маловат, и был надстроен ещё этаж. Такая была мода в те времена. Я ещё не подошёл к нему, но уже издали видно было, что дом мёртв. Так сразу по неуловимым признакам распознаёшь мертвеца. Но я пришёл к нему как к близкому родственнику на кладбище. Мне захотелось поговорить с ним, он молчал, это было сочувственное молчание.

А направо шла Старая Басманная, бывшая Коммуны, Марксова улица и позже — Карла Маркса. Совсем потерявшая старый облик и дух. Не спасал ни заброшенный особняк Муравьёвых-Апостолов, ни старый, безжизненный храм мученика Никиты, ни парадный въезд в усадьбу Голицыных с вечной выставкой Сальвадора Дали и Пикассо в подвале бывшего дома прислуги. Что-то было общее по идиотизму в шутовском автопортрете Дали с лихо закрученным усом, разделённом пополам автором рекламного плаката — видимо, абсурда Дали и безумия Пикассо ему показалось маловато по сравнению с нынешним названием бывшей усадьбы князей Голицыных: «Сад им. Н.Э.Баумана».

Спросите москвичей, и может быть, сотый ответит после задумчивой паузы: «Какой-то революционер. Кажется, его убили». А на вопрос «почему

Императорское московское инженерное училище теперь называется Университетом... имени Баумана?» и вовсе никто не ответит.

Как не ответит никто, почему сын владельца обойной и столярной мастерской, родом из тихих поволжских немцев, бросил гимназию, принялся учиться на ветеринара, — недоучившись, кинулся, как тогда было принято говорить, «с головой» в революцию? За что был арестован, сидел 22 месяца в одиночной (почему?) камере, был выпущен и сослан в город Орлов Вятской губернии, но почти сразу бежал за границу? Чем там занимался и на что жил? Что за «дело Баумана» — некто Василий Митров, отбывавший с ним ссылку, требовал партийного суда над ним из-за самоубийства Клавдии Приходьковой, супруги Митрова? Она сошлась с Бауманом, а после тот посылал (куда? кому?) компрометирующие письма из-за границы, доведшие её до суицида. Как собрать по осколкам хотя бы примерный образ их жизни? Как относилась к этой истории фактическая жена и соратница Баумана по партии Капитолина Григорьевна Медведева?

Вернулся Бауман в Москву по указанию Ленина «для борьбы с меньшевиками». А кем был тот мужик Николай Михалин, вскочивший в пролётку 18 октября 1905 года, на которой мчался Бауман, держа в руках лозунг «Долой самодержавие!»? И почему стрелял в него из браунинга Бауман? Что за драка произошла в пролётке? Якобы Бауман кричал «долой царя!», а Михалин возмутился: «...Как это “долой царя”, я ему пять лет верой и правдой...» Заражённый марксизмом поволжский немец Бауман был убит возле дома Ключиной на Немецкой (!) улице. В Михалина стреляли соратники Баумана, но он скрылся в воротах картонной фабрики Щапова. А потом были похороны на Ваганьковском. При большом стечении народа. А как же Университет, он же бывшее Высшее техническое училище имени Баумана? А так... Немецкая-то улица, где разыгралась трагедия, неподалёку была от Императорского училища. Вот тебе и «Сад им.Баумана», бывшая усадьба князей Голицыных. С выставкой Дали и Пикассо. Говорят, усадьба Голицыных суший рай для соловьёв. Интересно, это потомки тех же соловьёв, которых князь Михаил Михайлович Голицын, большой любитель и знаток птичьих голосов, завёз из Курской губернии, где птички были особенно хороши? Птички прижились и «слух зело услаждали». А потому всем москвичам позволялось «гулять по саду невозбранно».

А на углу Гороховского переулка у меня жила тайна. Нет, тайна эта не была связана с именем великого живописца Рокотова, когда-то была здесь его мастерская и даже дом, где он, кажется, не жил и дня. Я бывал в этой путанице дворики и проулков до женитьбы, о чём не знала жена. Тогда я долго плутал среди стареньких деревянных домов-особнячков, радовавших привыкший к дворцам глаз петербуржца, пока не увидел на крылечке одного из них одинокую фигурку. Волнами накатывали запахи сирени и черёмухи. Пока я бродил по Старой Басманной (тогда ещё Карла Маркса), уже начало вечереть, но было не по-весеннему тепло. Я сразу узнал её. Когда-то мы с ней целовались в садике возле Греческой церкви в Ленинграде. Она жила неподалёку и должна была прийти домой до возвращения мамы. Я не помнил, о чём мы говорили тогда.

Или молчали? Наверное, говорили, потому что её мама вышла замуж за инженера-путейца, и они должны были переехать в Москву. Осталось в памяти сложное чувство — близкой потери. Может быть, первой близкой и неизбежной потери. Странно, вот мы сидим в обнимку на неудобной скамейке, я чувствую тепло её рук, помню горячие губы и солоноватые слёзы: она не хотела уезжать, чувствовала, что мы расстаёмся навсегда. Какое тяжёлое слово «навсегда». В смысл этого слова человек не хочет вникать: навсегда — это как? И почему это так, когда можно сидеть обнявшись в садике возле Греческой церкви, целовать мягкие губы и в тишине вдруг замершего города слышать, как с соседнего куста жасмина опадают тяжёлые лепестки. Похожие на бабочек-однодневок, взлетевших весёлым роем вверх и теперь, выполнив таинственную миссию, рассыпавшихся под грузными ветвями жасминового куста. Я проводил её до дома в Озёрном переулке, она медленно поднималась по широкой с крутым поворотом лестнице, слышны были её исчезающие, нерешительные шаги, словно она ждала, что я позову. Ах, как простучали бы её каблучки вниз, как мы бросились бы друг к другу... Но я не позвал. Будто слово «навсегда» придавило меня. Навсегда — это вот эти затихающие, замедляющиеся шаги, слышные откуда-то сверху, из-за широкого разворота мраморной лестницы.

Оказалось, что не навсегда. Случайно или почти случайно, мне хочется думать, что «что-то вело» меня, я зашёл домой к тогда ещё живым родителям по старому своему адресу. И оказалось — мне письмо. Оно было коротким. Что-то вроде: «Я собираюсь уезжать насовсем. Если сможешь, приезжай до... — тут стояла дата отъезда. — Я буду очень ждать. Твоя...» Это было время массового отъезда евреев в Израиль. Или вообще отъезда. Куда-нибудь. Но при чём тут она? Хотя я слышал краем уха, что она вышла замуж. И, кажется, удачно. Об этом рассказала мне наша старая подруга. «Кажется, удачно» она произнесла с особым смыслом, давая понять, каким же я был дураком. И после «кажется, удачно» понятно, что это навсегда. Опять мраморно-могильное «навсегда».

И опять — нет. Я иду, путаясь в московских особнячках с дурацкими «строение 1», но тут же почему-то «строение 7» и вдруг вижу: на крыльце одного из «строений» стоит она. Мы пили чай с сушками, она помнила, что я любил сушки с маком, говорили ни о чём, рассматривая и вновь узнавая друг друга. На полке стеллажика стояли две фотографии. Красивый седовласый джентльмен, похожий на американского актёра в роли крупного бизнесмена-финансиста. И моя — старенькая, с ещё модным тогда коком на голове. Сейчас кока уже не было. «Муж?» — спросил я, понимая, что это муж и есть. Она кивнула. «А зачем ты вытащила мою фотографию?» — «Она всегда стояла здесь. Муж знал про тебя». — «Представляю, как он меня ненавидел!» — «Нет, он любил меня». Потом я ушёл. Оказалось, уже под утро. Наверное, столько чая я не пил никогда в жизни. Не осталось и ни одной сушки. Мы обнялись в комнате, поцеловались, губы были незнакомые, чужие. Она уезжала в Америку к родственникам умершего мужа и своей дочери. «Я назвала её Александрой». — «В честь меня?» — по-идиотски предположил я. Она кивнула. «Хочешь взять свое фото?» — спросила. Я отрицательно помотал головой. Потом мы, взявшись за руки, в коридоре было темновато, прошли по чуть проседающим половицам, вышли

на крылечко. Где-то далеко, за колокольной церкви мученика Никиты, собиралась разгораться заря. Мы ещё раз поцеловались чужими губами, и я пошёл в холодном коридоре утренней росистой сирени. Оглянулся — она стояла на крыльце, обхватив себя руками. Боже, как хорошо я знал этот жест!

Она умерла через две недели. Об этом сообщила всё та же наша подруга. «Ты не понял. Ни в какую Америку она не собиралась, — сказала подруга, — у неё была онкология».

Жена, обходя лужицу своей чуть семенящей походкой, обогнала меня и обернулась. Мне нравилась её лёгкая походка. Может быть, она осталась от Ленинградского балетного училища? Хотя грозная Вавочка Мей, внучка поэта Мея, бывшая её преподавательница по классике, лупившая девчонок железной линейкой по рукам и ногам, встретив нас на улице Зодчего Росси возле Вагановки, остановилась, всплеснула игрушечными ручками и сказала голоском героя из мультика: «Боже, какая ты стала бельфамистая!»

Жена обернулась и улыбнулась любимой моей улыбкой — весёлой, как когда-то в детстве. «Ты был в этом храме?» — за её спиной был храм Никиты-мученика. «Да, конечно», — ответил я. Знаменитый московский храм. Почти ровесник Петропавловскому на Новой Басманной. По преданию строил его князь Дмитрий Васильевич Ухтомский. Московское, точнее, елизаветинское барокко. Красавец. Здесь отпевали дядю Пушкина Василия Львовича. Присутствовали Пушкин, Вяземский, братья Полевые — много знаменитостей тогдашних. Василий Львович был человек известный. А потом, уже в XX веке, здесь пел лучший протодьяконский бас Михаил Кузьмич Холмогоров. Его голосу завидовал Шаляпин. «Это тот, которого рисовали Корин и Нестеров?» — «Да», — ответил я. «Зайдём?» — предложила жена. И мы зашли в храм, к сожалению, мёртвый, как и многие памятные дома на Старой Басманной. Неужели славное имя Маркса так иссушает всё вокруг себя? Мистика. В храме идеальная чистота и такая же пустота. Ни одного человека. За свечным ящиком пожилая служительница с недовольным (или злым?) лицом. Ощущение то же, что было много лет назад: храм после закрытия и разграбления не ожил. Тогда мы были в храме с популярнейшим актёром тех лет и племянником моей жены Никитой Михайловским. Признаюсь, это я затащил Никиту в храм. Он не был крещёным и упирался, словно я вёл его на казнь. Никита был оригинальный человек: популярный с самого детства (сыграл главные роли в нескольких фильмах), он был совершенно равнодушен к своей известности и даже славе. Надо сказать, что после фильма «Вам и не снилось» выйти с ним на улицу было невозможно: не только восторженные девчонки, но и вполне зрелые матроны советского разлива бросались за автографами. По счастью, мобильных телефонов ещё не было, и просьбы сфотографироваться с ним были нечастыми. Он, почти не останавливаясь, черкал что-то на бумаге, продолжая разговаривать или идти, и тут же забывал о поклонниках. Впрочем, точно так же он не испытывал ни малейшего трепета к знаменитым актёрам, работавшим с ним на съёмочной площадке. А это были Елена Соловей, Альберт Филозов, Татьяна Пельцер, Леонид Филатов, Алексей Баталов, Вера Глаголева, да мало ли... Он прекрасно (и довольно оригинально) рисовал, неплохо владел пером и, видимо, жил

Владимир Сухоребрый

Сонет. Шекспир. Венок

Рассказ с грузинским акцентом

Ивана Горностаю не любили в полиции. Он был хорошим оперативником, что признавалось всеми, но слыл зазнайкой, и как только образовалась возможность, его быстро спровадили на «заслуженный отдых». И даже на ценные подарки потратились ради такого праздника.

Если честно, Иван действительно был зазнайкой. К тому же страдал неизлечимой формой высокомерия. Об этих свойствах собственного характера майор полиции знал.

Другое дело, что он, становясь нередко жертвой особенностей своего поведения, даже не пробовал «над собой поработать». Зачем? Всё равно не получится, кошка не может прикинуться мышью. Так он считал, во всяком случае.

Отставной майор Горностаю, кукуя без работы несколько месяцев, вспомнил отставного коллегу майора Дуганова. Его из полиции попросили несколько раньше, и он, осознав, что никому не нужен, создал своё собственное сыскное агентство. То есть — «Экспресс».

На уходе Дуганова «по собственному желанию» настояло руководство, угрожая увольнением по статье. Майор не стал качать права, потому как был виноват на самом деле: спровоцировал самосуд. Нет, не специально, так получилось, он этого не хотел, хотя и догадывался — к тому идёт.

Сын одного большого чиновника федерального уровня, оттянувшись со свистом в модном ночном «шалаше», покидая под утро место отдыха, повздорил на выходе с «другим чуваком» и шмальнул в него из травматического пистолета. Тот умер на месте, звали его Сергеем Плешко.

Дуганов, расследуя дело, пришёл со своими помощниками к единственно возможному заключению: в использовании оружия необходимости не было.

Сухоребрый Владимир Гаврилович — прозаик, сценарист. Родился в Кишинёве в 1946 году. Окончил сценарный факультет ВГИКа, Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

И ссору, как следовало из показаний свидетелей и видеонаблюдения, затеял так же чиновничий отпрыск.

Такое резюме никого не устроило, и дело передали в другие руки. Отец погибшего, Артемий Фёдорович Плешко, узнав об этом, добился встречи с Дугановым, чтобы задать ему пару вопросов относительно его отстранения от дела.

— У меня нет права отвечать на такие вопросы, — сказал Дуганов.

— Тайна следствия?

— Тайна.

— Знаю. Сам следак.

— Правда?

— Работал в прокуратуре. Был важняком.

Плешко показал документ.

— Тогда вы меня поймёте, мы коллеги. — Дуганов встал, подошёл к окну, сунул руки в карманы.

— Я вас понимаю. — Плешко закурил. — Вот если бы кто-нибудь понял ещё и меня...

Он поднялся со стула, попросил прощения за беспокойство и направился потихоньку к двери. Он попыхивал сигаретой, походка была нетвёрдой, ноги заплетались. Что было тому причиной? Отчаяние, возраст, болезнь?..

Дуганова вдруг кольнуло: если он не ответит на вопросы отставного полковника, пожилого человека, убитого горем, ему потом жить придётся с паскудным чувством стыда, способным сожрать не только душу.

А что если он, пренебрегая уставом, поступит по совести и будет чувствовать себя человеком? Немалое достижение — почувствовать себя человеком, но неизвестно, чем это кончится. Вот что плохо. Известно только, чем вымощена дорога в ад.

Правда, такому грешнику, каким он, безусловно, является, всё равно преисподней не избежать. Среди праведников ему не место. Индальгенцию, отпускающую грехи от имени Папы Римского, в Москве не купишь. Надо лететь в Ватикан. Там по слухам за бабло вам могут продать что угодно, хоть самого Папу Римского. Плевать им на *реформацию*.

«А мне плевать на устав, — уговаривал он себя. — Пусть будет так, как будет. “Семь бед — один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет...” — поётся в песне».

Дуганов остановил коллегу-пенсионера и сказал, что готов ответить на любые его вопросы.

— Боюсь, майор, вы потом пожалеете, — сказал Плешко.

— Я тоже боюсь.

— Тогда, может быть...

— Я слушаю вас, Артемий Фёдорович, — перебил Дуганов.

— Почему вас отстранили от следствия? — спросил Плешко.

— Мои выводы поставили под сомнения.

— Что в них не так?

И Дуганов честно всё рассказал:

— Следствие показало, Сергея убили на пороге ночного клуба вовсе не в целях самозащиты. От него не исходило угрозы. Наоборот, его зацепили, он огрызнулся, и тут же в него пальнули. Сергей был один, вернее, с девушкой. А тот, что стрелял, был в окружении целой кодлы ублюдков. Они истошно орали на всю округу, подначивая его: «Не посрами мундира, Андрюха! Натяни ему глаз на жопу!»

— Значит, следствие должно свалить вину на убитого, — сделал вывод полковник.

— Если получится, — сказал Дуганов.

— У них получится.

Плешко оказался прав: у *них* получилось. Убийца из зала суда торжественно вышел на волю. Радостно улыбаясь, он приветствовал друзей, встречавших его на пороге суда. В это время к нему подошёл вплотную важняк в отставке и выстрелил в голову из именного макарова.

Именно этого опасался Дуганов, но ничуть не расстроился. Месть для него была делом праведным, чтоб не сказать святым. Когда он, пользуясь служебным положением, навестил Артемия Фёдоровича в следственном изоляторе, они в разговоре этот эпизод обошли молчанием. Поболтали о том о сём, точно были сто лет знакомы, и даже обнялись на прощание.

«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», — вслед Дуганову произнёс Плешко. До суда он не дожил, умер, если верить официальному заключению, от сердечного приступа в тюремной больничке.

Артемий Фёдорович сидел в камере с вором из Грузии Вильямом Габуния по кличке Шекспир. Дуганов встретился с ним и задал вопрос: не просил ли Плешко передать что-нибудь на словах? И был ли на самом деле сердечный приступ?

— Хочешь, анекдот расскажу? — предложил Шекспир. — Едет в маршрутке грузин. А сзади дамочка. Один мужик просит её передать за проезд. «Не могу, — говорит она, — руки заняты. Вот грузин передаст». «Грузин передаст? — возмутился грузин. — Сама передаст. И он передаст. И вся маршрутка здесь передасты».

Шекспир смеялся как ненормальный, потом вытер слёзы и впился в Дуганова маленькими злыми глазками.

— Что ты хотел? — спросил он майора.

— Я задал вопрос.

— Я на вопрос ответил.

— Понял.

— Нет, ты не понял, — сказал Шекспир. — Вижу по глазам, что не понял. Придётся рассказать другой анекдот. Хачик спрашивает отца: «Папа, почему солнце светит и греет? А луна только светит?» Отец объясняет: «А почему, например, Хачик, мы руки моем, а ноги нет?»

На этот раз любитель анекдотов не стал смеяться, а только спросил визитёра:

— Смешно?

В свою очередь задал вопрос Дуганов:

— Нельзя ли без аллегорий?

— Знаешь, я не учился в Кембридже. И таких словов никогда не слышал, my dear friend.

— Передаст, одним словом.

— Свободен, — сказал Шекспир.

— Язык прикуси.

— Чего?

— Заткнись!

Внутри Шекспира всё клокотало, глаза превратились в свёрла.

— Значит, сдох этот дед? — спросил Габуния, не скрывая своего презрения к Дуганову.

— Умер, — поправил его майор.

— И ты, мусорок, подохнешь.

— Испытываешь моё терпение?

— Все вы сдохнете, а я буду жить.

Дуганов с разворота врезал Шекспиру по голове ногой. Тот, сидя на шконке, ударился затылком о стену, да так, что она загудела. Майор, взбешённый словами вора, бросился избивать его кулаками, предварительно двинув ещё и коленом в лоб.

Шекспир орал, взывая о помощи. Когда прибежал вертухай и оттащил рассвирепевшего майора поближе к двери, вор потребовал медицинской помощи.

— Какие нежные убийцы пошли! — От возмущения лицо вертухая побагровело. — Зелёнка, понимаешь, ему нужна! А медицинское освидетельствование не хочешь?

— Хочу, — не стал скрывать своего намерения Шекспир, чем окончательно вывел из себя вертухая, тоже долбанувшего заключённого тяжёлым ботинком в висок. И снова стена отозвалась гулом, а голова Вильяма Габунии безжизненно повисла, точно подрубленная.

— Что с ним? — спросил майор.

— Не знаю.

— Убил?

— Какая разница, — произнёс вертухай устало.

— То есть?

— То есть по барабану.

— С тебя ведь спросят.

— Плевать.

— Придумай что-нибудь.

— Уже придумал.

— Поделись.

— Скажу, что он на вас налетел. А я пришёл вам на помощь и силы не рассчитал. Согласны?

— Согласен, — сказал майор и нащупал у Габунии пульс. — А он ведь живой.

— Жаль, — посетовал вертухай.

Тюремщик ещё раз душу отвёл, двинув Шекспира ногой по рёбрам, и они покинули камеру.

— Ты ему доктора всё же вызови.

— Вызову. Пусть помажет его зелёной.

Вертухай вёл майора к выходу. По дороге Дуганов сказал, что надо бы где-то бабки достать — похоронить Плешко. У вдовы, потерявшей сына и мужа, за душой ни копейки. Прокуратура помочь не хочет, дескать, бывший важняк опорочил ведомство. Боятся, что им за такое участие могут надрать не только уши.

— Ничего, наскребём по сусекам денежку и похороним ветерана по-человечески. Ещё и салют устроим, — то ли себя, то ли вертухая приободрил Дуганов.

Тюремщик не мог понять, почему майору надо скрести по сусекам или обращаться в прокуратуру за помощью. Зачем унижаться, когда деньги можно найти без проблем в СИЗО — здесь столько крутых сидельцев!

— И кто этот меценат, что готов поделиться награбленным?

— Меценатов здесь нет, здесь могут найтись покупатели.

— Что их интересует? Наркотики, водка, сёмга, икра, сигареты?..

— Во-первых, у них это есть. Во-вторых, на этом много не зашибёшь.

А похороны стоят немало. Гроб, оркестр, место на кладбище, попик... В общем, денег до чёрта надо.

— Чем торговать предлагаешь?

— Свободой, товарищ майор, — сказал вертухай. — Чем не товар — свобода? Лучшего товара нам не придумать.

— Свобода через побег? Я правильно понимаю?

— Правильно.

— Но это серьёзное преступление. Очень серьёзное.

— А если суд оправдывает убийцу, потому что его папаша сидит в правительстве, это не преступление?

Майор промолчал.

— Вдова не может мужа похоронить, потому что пенсия у неё смешная. Это не преступление?

— Ты у нас правозащитник?

— Нет. Я у нас вертухай, с вашего разрешения.

— И кому мы можем втюхать свободу? Эту высшую либеральную ценность?

— Не знаю. Может, тому же Шекспиру.

Вильям Габуня значительную часть своей разбойничьей жизни провёл за решёткой. Ещё подростком он отсидел в колонии за злостное хулиганство. Отсидел, как значится у блатных, от звонка до звонка, ибо никоим образом не желал вставать на путь исправления, и вопрос о его досрочном освобождении рассматриваться не мог.

Спустя какое-то время Шекспир за разбойное нападение удостоил своим присутствием колонию общего режима, откуда бежал, получив таким образом

Евгений Дьяконов

...И счастье ещё будет

* * *

когда-то страшно было
и нам с тобой во тьме
эпоха говорила:
два пишем, три — в уме,

но слогом габаритным
(опять тебе и мне)
Россия говорит нам:
три пишем, два — в уме,

мне голос твой не слышен,
и отдан мир — зиме...
не знаю, что напишем —
Бог знает что в уме...

* * *

Ты — только слово, милый. Только слово.

Константин Комаров

Если бы электрика Петрова
Или там Незнайку на Луне,
Но ко мне опять приводят слово
И вручают для чего-то мне,

Поначалу я гордился словом,
Всем его показывал вокруг —
Чем-то очень радостным и новым
С лёгкостью оно ласкало слух,

Дьяконов Евгений Александрович — поэт. Родился в Ленинграде в 1989 году. Окончил СПб ГУКИ, работает экскурсоводом. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Звезда», «Пироскаф» и др. Автор четырёх сборников стихов, среди них «Высмотришь», «Иснейя». Лауреат премии журнала «Дружба народов» (2022) и др. Живёт в Санкт-Петербурге.

И лелея буквы и звуки,
Любовался словом до утра,
И оно ко мне ложилось в руки,
И не отлипало ото рта.

Мелодично и о самом важном
Говорило слово дотемна,
Например, что нужно быть отважным
В тёмные, как нынче, времена,

Из столбцов изящных, стихотворных
Слово проповедовало свет,
И светилося средь словечек сорных,
Словно горя в этом мире нет.

Но теперь оно совсем иное,
Вот стоит без прежней мишуры —
Грязное, похмельное... родное,
Принявшее правила игры.

* * *

я бросил пить и пластилин купил,
пришёл домой, окно зашторил в спешке,
и вылепил себя — каким я был,
у разума живя на передержке,
там было всё: коричневая боль,
бордовый стыд и серая тревога,
зелёный, изумрудный алкоголь
с вкраплениями жёлтенького бога,
чернело одиночество в груди,
под кожей пластилинового зверя,
я закричать хотел ему «уйди!»,
в своё существование не веря,
я монстром стал, я стал рычать и выть
ужасным рёвом, возгласом пещерным,
себя мне захотелось раздавить
писанием тяжёлым и священным,
но вот стерпел, сижу, не пью, курю,
вылепливаю синие глазницы,
и сам с собой о чём-то говорю,
и пластилином пачкаю страницы.

* * *

у кабинета с надписью «рентген»
застыл, стоишь ты, словно манекен,
вот есть нога, в штанине и в ботинке,
ты можешь ей легко пошевелить,
кого-то пнуть, на что-то наступить,
но есть и та, которая — на снимке.

она была доселе не видна,
ну а теперь, просвеченный до дна,
любуйся на сросшиеся кости,
и, всматриваясь в этот негатив,
такой вдруг ощущаешь позитив,
что забываешь о недавней злости,

о зависти, о страхе, о стыде...
и кажется, что эти дни и те
срослись уже... и вместе с ними люди
из разных жизней, прошлых всех миров
срастаются и обретают кров,
и радость есть... и счастье ещё будет.

* * *

ты любила
цветы полевые,
одуванчики там
и ромашки,
мне по нраву
цветы — болевые —
невыносимые
обнимашки,
удушающие
приёмы,
разные захваты,
заломы,
на обе лопатки
броски —
от счастья и
от тоски.
задыхаюсь и
хочется сдаться,
стучу ладонью, плачу —
не отпускает,
аллергическая
акация,
мне кажется,
что-то
про нас с тобой
знает.

* * *

прекрасно помнится,
что в детстве я,
как ни крути,
терпеть не мог,
когда мы в
«правда или действие»
с тобой играли,
видит Бог,
не проболтался,
тайну главную
не выдал,
сохранил,
сберёг,
но до сих пор
по жизни плаваю
и выполняю,
видит Бог,
хотелки детские, дурацкие,
капризы страшные твои,
но правду
вечную,
гигантскую
храню,
что там ни говори...

Вадим Галкин

Добрые нелюди

Рассказ

— Как, говоришь, звать? — переспросил староста. — Николай? Больно мудрёно для наших... Николой будешь. Но ты не переживай, народ в селе приличный.

Впрочем, сам староста выглядел не особо прилично. Крепкий невысокий мужичок с растрёпанной бородой был явно подвыпившим. Либо страдал повышенным давлением, отчего его лицо покраснелось до безобразия. Перегар это, правда, не объясняло...

— И хвори обычно обходят стороной, — продолжал он. — Так что знахарской работы немного.

— Да я в общем-то не знахарь, — осторожно отозвался Никола, чтобы и старосту не обидеть, и себя в обиду не дать. — Лекарь, с образованием.

— Ну, пусть лекарь, — пожал плечами староста. — Вон и изба твоя.

В избе было сыровато, но после уличной жары любая прохлада в радость. Две комнаты — одна поменьше, другая попросторнее. Стол под иконой, две косо сбитые лавки, печка из мрачно-красного кирпича да ход в подпол. Никола тяжело вздохнул, впрочем, к чему-то такому он себя и готовил с тех пор, как узнал о переводе в село.

— А с прошлым что стряслось? — поинтересовался он.

— С Сенькой-то? Да запил, бедолага. Не то с тоски, не то ещё от чего. А потом в лесу сгинул, так и не нашли... Ну что, за приезд по маленькой?

— Так у меня нету.

— А мы и сами богаты. — Староста спрыгнул в подпол и вылез с початой бутылкой. — Говорю же, приличный народ — даже не утащили. Хотя, может, покойницы убоялись.

— Какой покойницы? — сглотнул Никола.

Галкин Вадим Александрович — бакалавр прикладной математики Высшей школы экономики. Родился в 1991 году в Москве. Печатался в журнале «Юность». В 2023 г. вошел в лонг-лист премии «Лицей». Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Да померла вчера баба Нюра, — проговорил староста, разливая мутную жидкость по глиняным чаркам. — Снесли сюда, к тебе то есть. У всех ледники уже никакие, а тут добротный. Но ты не переживай, завтра Гаврила придёт да заберёт. Ну, будь здоров!

* * *

Пожелание старосты не помогло.

На следующее утро голова болела так, что, кажется, Николе самому бы не помешала помощь лекаря. Озираясь в поисках брюк — отчего-то перед сном снял только их, оставшись в измятой рубашке, — он заметил на столе кувшин. Доковылял, принялся — вода, слава богу. Неужто староста позаботился? Опустошил в несколько больших глотков, но, конечно, не хватило.

Вышел из избы. Солнце жарило похлеще, чем накануне, и пить захотелось сильнее. Оглядел огороженный клочок земли, на котором помещалась изба, куца яблонька да безлистные кусты. Колодца в поле зрения не было.

Восстанавливая вчерашний день — сопровождалось это вспышками боли то в затылке, то в висках, — Никола припомнил, как они со старостой проходили колодец, пока тащили чемоданы к избе. Староста ещё нахваливал местную воду, якобы целебную... Далее воспоминания путались, да и голова начала трещать так, что Никола доверился чутью и, выйдя на пыльную дорогу, повернул налево.

Село оказалось довольно большим — Никола подметил это ещё накануне, — дома выглядели ухоженными, не в пример его почерневшей от времени и дождей избе. Но с похмелья они расплывались в яркие пятна на периферии зрения и отчего-то раздражали. Благо, долго страдать не пришлось — на ближайшем перекрёстке высился оголовок колодца с лебёдкой.

Вода по большей части лилась мимо рта, отчего Никола утолил жажду только с третьего ведра, зато после непроизвольного ледяного душа начал помаленьку приходить в себя. Он даже нашёл силы поводить глазами в разные стороны, хоть эти движения и отдавались резью внутри черепа. Дорога, по которой он ковылял до колодца, упиралась в лес. Пересекающая её тропинка уходила вниз, к бесконечному полю, рассечённому вдали тёмной полосой реки. «Не так уж плохо, — подумал Никола. — Глядишь, не сопьюсь, как прошлый лекарь».

Он повернулся, чтобы двинуться к избе, и вздрогнул — дорогу преграждала скрюченная старуха в тёмном тряпье, напоминавшем рваные мешки из-под картошки. Приглядевшись, Никола всё-таки различил пыльный сарафан и несколько платков, в которые старуха зачем-то укуталась в жару.

— Ты кто будешь, милоч? — проскрипела она.

— Ле... Лекарь, — отчего-то сбился Никола.

— Лекарь? Это как?

— Ну, как... — Никола, преодолевая головную боль, покрутился туда-сюда, с трудом подбирая слова. — Знахарь по-вашему, во!

— А, знахарь, — протянула старуха. — Дело хорошее! Вместо Сеньки, значит? Тоже, гляжу, пьющий?

— Да я это... — Никола почувствовал, как краснеет. — Староста ваш... За приезд...

— Ах староста? А чего ж он молчит, ирод поганый, что тебя к нам прислали? А то как Сенька пропал, так разогнуться не могу. Загляну к тебе, значит. Ты же в Сенькиной избе? Где ещё Нюрка лежит?

— В Сенькиной... — выдавил Никола, вспомнив про неожиданное соседство.

— Загляну-загляну, — кивнула старуха и, пошатываясь, медленно поковыляла в сторону поля.

Никола поплёлся обратно. Заходя в избу, подумал, что стоило бы захватить к колодцу ведро или хотя бы кувшин, чтобы принести воду в дом. Уже собрался было идти обратно, как из подпола донеслось постукивание. Промелькнула мысль о Гавриле, — пришёл, видать, забирать, — вот только ход в подпол был прикрыт. «Что за дела? — подумал Никола. — Темно же, неудобно. Послышалось?» Но тут снизу явственно раздался звон, будто что-то жестяное свалилось на пол. Никола дрожащими руками — не то от похмелья, не то от страха — подцепил доски и аккуратно приоткрыл ход.

Из подпола дохнуло прохладой и запахом солений. Темнота рассеивалась мерцанием тёплого света, словно где-то внизу, вне поля зрения, горела свеча. Лампадку поставили у покойницы? В леднике-то? Никола медленно опустился на колени и сунул голову под доски.

Подпол оказался шире, чем изба, уходя вбок под землю. Брёвна по трём сторонам повторяли контуры внешних стен, а в дальней стене, выложенной из кирпича, была приоткрыта деревянная дверь, которая и вела в ледник. Свечное пламя извивалось тенями на рыхлых ледяных глыбах и укутанной в белое фигуре, лежащей на досках. А потом Никола увидел, как из-за дверного проёма показалась чья-то голова и начала медленно наклоняться к покойнице...

Никола от неожиданности вскрикнул. Голова тут же отпрянула, и кто-то, вероятно её обладатель, вполголоса выругался.

— Ты что там, а?! — Никола постарался спросить максимально грозно, но голос сорвался на визг.

Никто не отозвался, из ледника донеслось только неловкое кряхтение.

— Чего молчишь? — продолжил Никола чуть спокойнее. — Выходи давай!

Свет стал ярче, а тени задёргались сильнее. Из ледника, поддерживая подсвечник, вышел мужик лет сорока, в ватнике с криво обрезанными по плечи рукавами. Лицо его было обмотано тряпичей — навроде платка, смещённого с макушки на щёку, — из-под неё торчали острые скулы. Чувство опасности сменилось у Николы жалостью.

— Ты Гаврила, что ли? — спросил он. — За бабой Нюрой?

— Не, Авдей я, — мужик воровато огляделся, а потом посмотрел на Николу. — А ты новый знахарь?

— Лекарь. Николой звать. Ты, Авдей, чего тут делаешь?

Авдей отвёл взгляд.

— Да помощь Нюркина нужна... — проговорил он.

— Какая помощь? — удивился Никола. — Она ж того...

— А вот, — Авдей указал на тряпицу.

— И что?

— Ну как... — Авдей широко открыл рот, ткнул пальцем в нижнюю челюсть и выговорил невнятно: — Зуб болит. А тут она.

— Так.

— Ага, — Авдей заискивающе посмотрел на Николу. — И я её за палец укусить хотел.

— Что?! — вскричал Никола. — Зачем?!

— Как зачем? Чтобы унесла с собой. Её ж завтра похоронят, а с ней и боль мою. Только не успел, отвлёк ты меня. Кусну, а?

— Да ты сдурел, что ли?! Нет, конечно!

— Ну, пожалуйста. — Авдей дёрнул головой, поморщился, приложил ладонь к перевязанной щеке и прошептал: — Сил нет...

— Ни в коем случае! Это же труп! Подцепишь ещё чего похуже!

— Да уж хуже некуда. Хоть помирай с ней вместе. Не дашь, значит?

— Не дам! Вылезай!

Авдей ещё постоял, надеясь, что Никола передумает, но, не дождавшись, покачал головой и полез наружу.

— Неужто этот Сенька вас так лечил? — удивлённо спросил Никола.

— Сперва ерепенился, — проворчал Авдей. — А как пожил среди нас да узнал дела наши... Мы ж только и спасаемся, что от покойника к покойнику.

— Жуть какая... Возьми хоть таблетку. А вообще тебе бы в райцентр.

— Таблетка, райцентр... — Авдей, казалось, хотел сплюнуть, но только отмахнулся. — Скажи лучше, воды у тебя нет?

Никола только развёл руками, а Авдей, вздохнув, побрёл к выходу. Уже на пороге он обернулся и проговорил виновато:

— Только Гавриле не говори... Не всякому по душе, когда у его покойника помощи ищут. Ну, сам понимаешь.

* * *

На следующий день Никола принял у себя, кажется, всех сельчан.

Первой приковыляла скрюченная старуха. Уже начала она разматывать бесконечные платки — «шоб знахарь ощупал», — но Никола поспешил отсыпать ей десяток таблеток аспирина и отправил домой. Старуха недоверчиво посмотрела на белые кругляшки, проворчала что-то о бесовском зелье, но таблетки забрала. Правда, выйдя ненадолго проветриться, Никола увидел, как забредшие во двор куры доклёвывали что-то мелкое и белое у самого крыльца.

Многие заглядывали просто познакомиться — заходили в избу, представлялись, внимательно разглядывали Николу. Женщины помоложе заносили банки с закрутками — он благодарно принимал. Мужики, поглядывая на лаз в подпол, предлагали «принять, так сказать, за встречу», — Никола отбивался, ощущая, как при первых же намёках на самогон к горлу подступала тошнота.

Заходили и по делу. Следующим пациентом после старухи стал средних лет мужик с огромными усищами, представившийся Феофаном. Он полез в канаву за укатившимся с телеги поленом и вылез уже с огромными волдырями от плеча до кисти. Феофан бесперебойно вздыхал и стонал.

Андрей Темнов

Эол

Рассказ

посмотри как блестят бриллиантовые дороги
послушай как хрустят бриллиантовые дороги
смотри какие следы оставляют на них боги
чтобы идти за ними нужны золотые ноги
чтобы вцепиться в стекло нужны алмазные когти

Илья Кормильцев

1

Но у Марка не было ни алмазных когтей, ни других изящных атрибутов, указывающих на принадлежность к высшим кастам. С золотыми ногами тоже как-то не задалось — они у него, если присмотреться, самые обычные: ботинки с высокой шнуровкой, а внутри — натруженные, мозолистые ступни. Бывалая плоть.

Над ним хмурилось низкое небо позднего октября. Скоро должен начаться дождь, или сразу, без перехода, — снег. В Сибири с этим просто: душное лето прерывает ускользающая прозрачная осень, а в двадцатых числах октября зима берёт своё. Она приходит с позёмкой, сугробами и вороньим карканьем у ограды погоста. Даже отсюда, с далёкого выката федеральной трассы, секущей давно убранные поля на неравные доли, Марк видел клубки лениво кружащих птиц и чёрные отметины крестов — в раздетой роще, меж болезного вида берёз и осин. Михайловка лежала тут же, на склоне пегого скособоченного холма. Деревенские заборы примыкали к кладбищу и болотистой прогалине с огарками высохшего тростника по ободу. Болото, кладбище и деревня ложились в один бегло брошенный на сторону взгляд. Всё жмётся друг к дружке, не выдохнуть. Земли много, а всё ж тесно, — то ли оттого, что в стужу разумней держаться рядом со своими, то ли от укоренённой, всё перемогшей неустроенности русского человека, с одинаковым равнодушием взирающего на жизнь и смерть.

Темнов Андрей Игоревич родился в Иркутске в 1990 году. Окончил Байкальский государственный университет, факультет журналистики. С 2010 по 2021 год работал журналистом и редактором в одном крупном сибирском сетевом издании. Живёт в Нови-Сад, Сербия. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Трасса была пуста. Через прерывистую линию разметки время от времени перемахивал резкий порыв, поднимавший вихри пыли и придорожного мусора. Рюкзак, заменявший в походе стул, а иногда и стол, лежал на земле, прислонённый к верстовому столбу. О рюкзаке думалось с нежностью, как о старинном друге: верный, испытанный, он вселял в Марка надежду на благополучный исход затеянного предприятия. Октябрь — не лучшее время для путешествий автостопом, но для Марка это не имело значения. Он был в разводе — данный факт плохо укладывался в голову, а ведь именно развод побудил его выйти на трассу этим будничным пасмурным утром. Спонтанное, но в то же время инстинктивно выверенное решение. События последних месяцев требовали осмысления, и — Марк знал наверняка — только трасса могла дать ему время и простор для нужного душевного настроя.

Марк женился рано, после первого курса университета. С Ольгой, будущей супругой, он познакомился незадолго до, на старте лихой студенческой жизни. Иркутский филфак был равно знаменит выпускниками и пьянками: к первым Марк причислить себя ещё не успел, зато ко второму приобщался по мере сил. Пили всё, что горит; и даже то, что нет, проглатывали с охоткой, забыв о закуске. Времена стояли весёлые и по большому счёту беззаботные. Позже на них навесят множество сытых, сытных биров, но Марку они запомнились тем, что в городе как-то особенно пахло. Пронзительным ветром с водохранилища. Ранним листопадом. Свежей выпечкой. Когда тебе семнадцать, в Иркутске сентябрь и набережные одеваются парадным пурпуром, — сложно не влюбиться.

В аудиториях Оля сидела через две парты от Марка. Он всё больше наблюдал её со спины: смотрел на огненные кудри, слушал гротескно низкий, почти мужской голос, думая о том, что девушка эта, пожалуй, знает себе цену. Такой палец в рот не клади — откусит. В Оле он сразу распознал иной биологический вид, и его увлекла идея обладания этим удивительным созданием. Он желал познать, охватить её всю, проникнуть в её загадку. А ещё он просто её хотел, и не стоило доискиваться иных причин, — молодая кровь вскипела, точно игристое вино, почуявшее свободу пустого бокала.

К исходу первого семестра они уже начали встречаться, к Рождеству произнесли заветные слова, и вскоре, длинным летним днём в начале июня, сразу после сессии, по городу прокатилась удалая студенческая свадьба, траты на которую ограничивались покупкой ящика водки и перешивкой школьного выпускного платья Оли на «брачный» манер. Гуляли недели три, меняя квартиры и транспорт: утром похмелялись под Старым мостом в центре города, в обед уминали холодные беляши (на перроне, ожидая электричку), а ночевать укатывали в садоводство, к друзьям. Прохладный бор на 5215-м километре Транссиба, станция Голубые ели, двухэтажный деревянный дом с окнами на реку, скрип ветра в чердачных антресолях, запах прелой хвои... В первом сиреневом свете Марк открывал глаза и видел спутанные рыжие букли, покачивающиеся в такт дыханию. Он проводил по ним рукой. Оля отмахивалась, оттопыривая нижнюю губу — смешно, совсем по-детски, — не просыпаясь.

Быт не разрушил их отношения, но оголил характеры. Ольга была властной, расчётливой женщиной, она вырвалась из нищеты девяностых

и с ранних лет укрепились в мировоззрении на манер незабвенной Скарлетт О'Хары. «Бог свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать», — говорила Скарлетт. Оля выражалась столь же ясно, а ещё она, как и героиня знаменитого романа Митчелл, пребывала в убеждении, что мужчина — вернейший инструмент для избавления от жизненных тягот. Она училась, работала, не увиливала от обязанностей, но всё в её поведении указывало на подспудно лелеемую мысль, что труды эти — временные, что они не более чем разумная непраздная плата за вхождение в круг семейной жизни, каковая жизнь, в конечном итоге, есть мерило и основа бытия.

Марк стал тяготиться воззрениями жены. Он легко отдал ей инициативу по обустройству домашнего очага, но навязчивая меркантильность и ограниченность — как он стал определять эти её черты для себя — шли вразрез с движением его души: каждодневным, вдумчивым, свободным от штампов, тяготеющим к постижению смысла явлений, а не употреблению частных свойств оных себе на пользу. Марка занимали история, литература, география, он много читал, любил одиночные походы в горы и прогулки под сенью опадающих тополей. Впереди маячили образы аспирантуры, кандидатской, путешествий, а возможно, даже переезда за границу. В его лексиконе было бесконечное множество слов, но самых важных — тех, ради которых жила Оля, — там недоставало. Он любил прилагательные, она — глаголы; его чувства к ней исчерпывались выражением «терпеливое равнодушие», а её к нему «иди посуду помои».

К середине третьего курса Марк осознал, что его семейная новелла застряла в сюжетном тупике, и это был один из тех пыльных углов жизни, откуда бесполезно искать выход. Слишком высокие стены, слишком мало желания на них лезть. Ольга... рыжая кошка с хрипотцой в голосе, — этот биологический вид лёг на полку и больше не интересовал Марка. Однако по натуре он был мягким, гибким, с детства избегающим конфронтаций, предпочитая драке переговоры. Это не было трусостью, скорее — болезненным нежеланием взаимодействовать с социумом через грубые вербальные практики. Ему хотелось, чтобы люди сами понимали смысл его намёков и делали соответствующие выводы. Он желал, чтобы Оля заговорила о разводе первой, но эта женщина демонстративно не различала полутонов. Она как бы заявляла миру, чтобы тот прогнулся под тяжестью её когтистых лап или шёл к такой-то матери. Марк не хотел начинать *этот* разговор, а она предпочитала игнорировать всё более очевидную скудость их вечерних перемолвок.

Затянувшаяся неловкая пауза разрешилась самым постыдным и тривиальным образом. Как-то в пивной, во время пятничных посиделок, приятель поведал Марку, что на день рождения их общего знакомого (где Марк не мог присутствовать) Оля выпила больше обычного, после чего со всей присущей ей грубоватой откровенностью выдала гостям матримониальные планы. Вкратце они сводились к скорой беременности, уходу с работы и добровольно-принудительному перекладыванию ответственности за их с «малышом» будущность на плечи супруга. Марк взбесился. Дело было не только в намерении Оли завести раннего ребёнка, — хотя и это вызывало

огромные возражения, — но и в том, что жена собиралась воспользоваться беременностью как оружием, окончательно привязывая мужа к себе. Марк понял: сделать это Оля собиралась, прибегнув к низкой женской хитрости, — осознание последнего теснило грудь особым низкочастотным бешенством, ведь Марк всегда почитал себя выше манипулятивных приёмчиков в духе дешёвых реалити-шоу.

Он пришёл домой, хлопнул дверью, разгорячённый, после полбутылки коньяка, выпитого в компании всё того же приятеля. Диван, включённый телевизор, запах гречки с кухни, и она — полужёжа, в расслабленной, намекающей позе; мужская рубаша — его рубаша! — на голое тело, задранные вверх колени в красных пятнах (так бывает, когда усердно моешь пол); в квартире и вправду чисто, ни пылинки; бывший и будущий президент что-то уверенно излагает по ящику, он на огромной сцене, в вызывающем фиолетовом галстуке, а у людей в зале странно напряжённые, внимающие лица... Оля слегка повернула голову, — качнулся и тут же замер пожар волос, — а затем тепло, по-домашнему, улыбнулась мужу. Марк приблизился, наклонился и коротко ударил тыльной стороной ладони. Потом развернулся, выбежал в коридор, скатился вниз по лестнице. А перед глазами плясала сливовая удавка на шее Гаранта.

Квартира у них была съёмной, и он собирался оставить её в полном распоряжении бывшей — раз и навсегда бывшей! — жены. Ольга рассудила иначе. Через несколько дней, решившись, наконец, заехать за самыми необходимыми вещами и документами, Марк нашёл их ещё недавно уютно обставленную студию в состоянии унылого опустошения, с голодно распахнутыми дверцами шкафов и гадливыми пятнами на засаленном, лишённом белья матрасе. Оля осталась верна себе — на единственном окне она размашисто вывела алой помадой: «Желаю тебе всего самого наихудшего». Этот эффектный эпилог встретил Марка первым, а сразу после была теряющая хвосты лиственница, растущая во дворе и хорошо видная из окна в любое время дня и ночи. Дерево шумело на ветру, касаясь подоконника, издававшего тихие щелчки — будто ход метронома. «Всего самого наихудшего», — повторил Марк про себя. Позже он узнал, что Оля уехала на юг, к родне. Больше он её не видел.

Ему казалось, что он легко перешагнёт через два с половиной семейных года и вернётся к прежней жизни. Но как прежде он уже не мог. Что-то провернулось в нём, глубоко, под рёбрами, и засело — не вытащить. Без её вещей, запаха, волос, — неизменно забивавших слив под ванной путаными комьями бурого цвета, — квартира зажила бобылём, заросла, точно бородой, густой атмосферой мрачной отрешённости. Марк с мазохистским наслаждением погрузился в омут: забросил учёбу, стал завсегдатаем пивных, начал смачно заливаться, однако не повторилось ни былой удали, ни прежних, всегда готовых поддержать его начинания, товарищей. Он завёл новые знакомства — неприятные, липкие, — когда взаимные фальшивые улыбки охотно принимают за чистую монету, лишь бы вычеркнуть себя из пустой квартиры с её запавшими фингалами углов и горой немытой посуды в мойке.

Ближе к зиме Марка захватила разрушительная страсть. Те месяцы он запомнил плохо. Притоны, дурман-трава, женщина с булгаковским именем

Николай Верёвочкин

Хижина в ореховой роще

Рассказ

Лишь жить в себе самом умей.

Ф.И. Тютчев

В горы нельзя ходить одному.

В горах нельзя сходить с тропы.

Когда собираешься в горы, кто-то должен знать, куда ты идёшь, по какому маршруту и когда намерен вернуться.

Никому не советую нарушать эти правила. Безопасных гор не бывает.

Но я хожу в горы один, без троп, и никому не сообщаю, где меня нужно искать, если, допустим, попаду под камнепад, лавину или, банально оступившись, сломаю ногу.

Причина моей беспечности — фотоохота. Хотя, сказать честно, «моей судьбою очень никто не озабочен».

Меня с детства будоражил азарт охоты. Но первое же убийство живого существа навсегда отвратило меня от ружья. Крик зайца-беляка, его агония преследуют меня в самых страшных снах. Во сне я убиваю не зайца, а беззащитного ребёнка. А он смотрит на меня большими непонимающими глазами. И мне кричат: «Что смотришь? Добей его!» Вы когда-нибудь добивали подранка? Зачем мне нужно было убивать зайца, безобидное, живущее в постоянном страхе, всеми преследуемое существо? Я умирал от голода? Нет. Я, сытый, в меру упитанный мерзавец, убил его ради удовольствия убивать. Ужасны муки раскаяния, когда уже ничего нельзя исправить. Но ещё ужаснее увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле.

Верёвочкин Николай Николаевич — прозаик. Родился в 1949 году в селе Мареевка (Северо-Казахстанская область, Казахская ССР). Окончил Казахский государственный университет. Печатается в журнале «Дружба народов» с 2006 года. Автор семи книг прозы. Рассказы из первой книги («Древоград», 1994) вошли в хрестоматию «Русская словесность» для пятого класса казахстанских школ. Лауреат конкурсов СОРОСа в номинациях «Современная пьеса» («Ковчег-транзит, или Время строить лодку») и «Современный роман» («Зуб мамонта»). Лауреат «Русской премии» за 2006 год (повесть «Человек без имени»). Живёт в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 10.

Полагаю, что любительская охота в наше время ничем не отличается от каннибализма — занятия позорного, отвратительного. Мало того, что мы убиваем без особых на то причин, но ещё и вытесняем зверьё в глухие, сокращающиеся шагреновой кожей клочки живой природы. Да и там не даём покоя.

Но запертый в клетку инстинкт хищника, азарт охоты тревожили меня, шевелились в подсознании сумрачным налимом, требовали выхода.

Однажды приятель, горнолыжник, дал мне свой фотоаппарат и попросил запечатлеть его подвиг — сфотографировать в момент, когда он будет прыгать с наддува на дикий склон. Я занял позицию под обрывом, дождался предупреждающего крика, увидел в видоискателе приятеля, взлетевшего над вершинами елей, инверсионный след снежной пыли за ним.

Затвор щёлкнул, и я понял — это моё.

С тех пор стреляю по птицам и зверям, где только можно. При этом меня не волнует, открыт ли охотничий сезон, можно ли охотиться в заповедных местах. Выстрел из фоторужья. Трофей добыт, а сама добыча жива и здорова. Будь это лось или медведь — никаких проблем с транспортированием туши. И, слава Богу, мне ни разу не доводилось добивать подранков.

Во времена, когда я пристрастился к фотоохоте, даже фантасты не догадывались о цифровой камере. Фотоаппарат с катушкой на тридцать шесть кадров, длиннофокусный объектив. Запах реактивов для проявления и закрепления плёнок и фотокарточек, красный свет фонаря, жёлтые пальцы от растворов. Конечно, я мог бы облегчить себе жизнь и перейти на цифру. Но это всё равно что охотиться на уток со спаренным пулемётом.

Я охочусь не только без крови, но и стараюсь вообще не тревожить животных.

Пытаюсь быть невидимкой. Иногда это удаётся.

Выследил. Подкрался. Снял. Незаметно исчез.

Только щелчок затвора выдаёт моё присутствие.

Моя страсть научила передвигаться скрытно, бесшумно, избегая истоптанных троп, всё дальше уводила в горы.

Когда просто идёшь по склонам, покрытым елями, — это красиво и, да, полезно для здоровья. Но бессмысленно. Когда же бесшумно крадёшься, стараясь быть невидимкой, прислушиваясь к звукам, высматривая живых существ, появляются и смысл, и азарт.

Знаете, порой не наигравшийся взрослый дядя продлевает беззаботное детство, прикрываясь детьми и собакой. И сторонний наблюдатель, видя, с какой страстью предаётся легкомысленным занятиям сосед, благожелательно отмечает про себя: хороший отец, хороший хозяин. И, любезно раскланиваясь, приподнимает шляпу. Я тоже прикрываю камерой с длиннофокусным объективом порочный азарт охоты и предосудительную склонность к бродяжничеству.

С фотоаппаратом к животному нужно подкрасться значительно ближе, чем на расстояние выстрела из ружья. К тому же с ружьём обращаться проще: снял с плеча, взвёл курок, прицелился, задержал дыхание, выстрелил. А для того, чтобы сделать качественный снимок, необходимо установить выдержку,

ориентируясь на освещённость места съёмки, навести на резкость. И всё это в доли секунды. К тому же к объекту съёмки желательно подойти со стороны солнца, когда впереди тебя крадётся собственная тень, выдавая. А, подкравшись, замереть в неудобной позе, ждать динамичного кадра: движения, выразительной позы, действия. Передать в одном кадре характер животного, его образ жизни. А для этого приходится подолгу держать на весу камеру с тяжёлым объективом, усилием воли сдерживая дыхание и дрожь в руках. Кому интересно в тысячный раз видеть белку, навечно застывшую в одной позе на еловой ветке?

Фотоохотник может легко стать просто охотником, но не каждому охотнику под силу стать фотоохотником. Намного сложнее. Это же не в студии на паспорт снимать: внимание, не моргайте, сейчас вылетит птичка! И птичка обязательно вылетит.

Звери не любят, когда за ними подглядывают. Это не фотомодели, позировать не будут. Один качественный снимок на плёнку — отличный результат.

Крадёшься, и сам становишься зверем. Ты уже не турист, который смотрит себе под ноги и ничего не замечает вокруг, кроме пяток впереди идущего, а снежный человек. Скрытное существо, не позволяющее наблюдать за собой зевакам. Все чувства обостряются в тебе: и зрение, и слух, и нюх. И ещё одно, которому нет подходящего названия. Что-то вроде предчувствия. Интуиции. Услышишь человеческий голос, и притаишься, замрёшь. Не хочется встречаться с людьми. А хочется быть невидимкой. Звуки, издаваемые самоуверенными существами всё ближе, ближе, и ты сливаешься с фоном, чувствуешь себя обитателем леса, самым лесом. Голоса, смех совсем рядом. На тебя неотвратно надвигается зло, абсолютное зло. Прижимаешься к стволу и стараешься не дышать. Хоть бы не заметили, прошли мимо. Голоса постепенно удаляются, растворяются в естественных звуках леса. Тишина. Какое облегчение. И тебе стыдно перед самым лесом за пережитый ими страх. Ты — человек, существо, порождённое природой и предавшее природу. Здесь тебе не рады. И как бы ты ни притворялся своим, лес тебе не поверит, не доверит своих тайн.

Человек не царь природы. Он самозванец. Узурпатор. У природы не может быть царя. Быть царём природы — такое же святотатство, как быть начальником Создателя. Но человек, мыслящая обезьяна, настаивает на своём праве переделывать природу под свои мелочные потребности, редактировать её законы. Самодур скорее погубит планету, чем откажется от самовольно захваченного трона. Чего ещё ожидать от существа, предки которого не гнушались каннибализмом? Чего ожидать от существа, неустанно совершенствующего способы массового убийства себе подобных? Пожирающего братьев своих меньших, вырубаящего леса, опустынивающего степи, приспособившего реки и моря под канализацию, а на досуге любящего порассуждать о высоком предназначении человека. О гуманизме. О правах и свободах. О любви.

И вот я, раскаивающийся блудный сын, *мыслящий тростник*, понунив голову, возвращаюсь к своей прародительнице Природе. Но она не верит моему раскаянию, не прощает моих грехов, отталкивает от себя. И правильно делает. Я, в меру образованная, испорченная цивилизацией обезьяна, напаявшая

на себя корону самомнения, уже никогда не смогу стать её частью. Точка невозврата пройдена.

Нет, я не мизантроп. Напротив, я жалею людей. Как не жалеть? Мы — тупиковая ветвь. И в тупике нас ничего хорошего не ждёт. Но я ревную собратьев к горам. Чем меньше людей любят горы, тем горы чище.

Образ жизни каждого человека имеет свою философию. Моя такая. Да, оскорбительная для собратьев и, скорее всего, ошибочная. Но я и не пророчествую на площадях, не навязываю её другим. Что за забота опадающему листу думать о судьбе дерева? Эта философия для собственного потребления.

К тому же меня можно понять: праздношатающиеся мешают фотоохоте, распугивая дичь.

Труднее всего фотоохота в горах. Особенно в их лесистой зоне. Это почти невозможно — бесшумно карабкаться по крутому склону и одновременно выглядывать фотодобычу. Только собственное дыхание да шорох подошв и слышишь. Кажется, тысячи глаз к тебе приглядываются, тысячи ушей прислушиваются, тысячи носов принимают, а ты никого не замечаешь.

Была у меня мечта — сфотографировать барса. Создать фотоповесть о жизни этого скрытного животного, но я благоразумно начал с пищухи. Первый объект моей фотоохоты похож на коротконового грызуна вроде морской свинки или хомячка, но на самом деле он — горный заяц. Подкараулить пищуху просто. Главное — набраться терпения. И вскоре ты уже будешь показывать своим знакомым снимки этих забавных зверьков с травинками в зубах, прячущихся между мшистыми валунами.

Однажды я встретил в лесу выходящее из сиреневого тумана существо, покрытое белой шерстью. Четвероногий рогатый одуванчик. Сдерживая сердцебиение, отснял это чудо, не сразу узнав в нём сплошь покрытую инеем корову обыкновенную. Снежная корова — мой пока что лучший трофей.

С другими животными сложнее. Ты стараешься стать невидимкой, они стараются стать невидимками. И кто кого переневидимит. К тому же у них природный камуфляж. Они сливаются с фоном. Подкрадываешься-подкрадываешься по часу к какой-нибудь синей птахе, а в последний момент то камешек из-под ноги покатится, то веточка хрустнет. Поэтому я люблю ветер, шорох трав, листьев, хвои — естественные звуки, заглушающие мои шаги. Но ветер в горах сопряжён с другими стихийными явлениями: туманом, дождём, снегом. Туман в горах — это неожиданно налетевшее облако, которое поглощает тебя, горы и делает невозможной фотоохоту.

Может быть, у кого-то сложилось впечатление, что я одинокий затравленный волк, избегающий общения с себе подобными. Это не так. В городе у меня было много друзей. Но они были нормальными, серьёзными людьми и не разделяли мою страсть к горному бродяжничеству. С собой в горы я брал других спутников. Все они — покойники. В моём рюкзаке всегда лежал либо томик созвучного по настроению поэта, либо книга близкого по духу философа. Ничего другого в горах не читается.

ХИЖИНА В ОРЕХОВОЙ РОЩЕ

Фотоохота Николая Верёвочкина

«Я хожу в горы один, без троп, и никому не сообщаю, где меня нужно искать, если, допустим, попаду под камнепад, лавину или, банально оступившись, сломаю ногу. Причина моей беспечности — фотоохота. Хотя, если честно, “моей судьбою очень никто не озабочен”.

Меня с детства будоражил азарт охоты. Но первое же убийство живого существа навсегда отвратило меня от ружья. Крик зайца-беяка, его агония преследуют меня в самых страшных снах. Во сне я убиваю не зайца, а беззащитного ребёнка. А тот глядит на меня большими непонимающими глазами. И мне кричат: «Что смотришь? Добей его!» Вы когда-нибудь добивали подранка?

Зачем мне нужно было убивать зайца, безобидное, живущее в постоянном страхе, всеми преследуемое существо? Я умирал от голода? Нет. Я, сытый, в меру упитанный мерзавец, убил его ради удовольствия убивать. Ужасны муки раскаяния, когда уже ничего нельзя исправить. Но ещё ужаснее увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле.

Во времена, когда я пристрастился к фотоохоте, даже фантасты не догадывались о цифровой камере. Фотоаппарат с катушкой на 36 кадров, длиннофокусный объектив. Запах реактивов для проявления плёнок и фотокарточек, красный свет фонаря, жёлтые пальцы от растворов. Конечно, я мог бы облегчить себе жизнь и перейти на цифру. Но это всё равно что охотиться на уток с пулемётом».



Дорога в Шамбалу



«Труднее всего фотоохота в горах. Особенно в их лесистой зоне».



«То на грибное место наткнёшься, то на малинник».



Дракон-единорог. Последствия урагана в горах.



«Звери не любят, когда за ними подглядывают».



«У этих горных орехов особый вкус».



«Вот войду в хижину, а за столом сидит скелет с орехоколом в руке, по колено в скорлупе. А на безглазом черепе — истлевшая соломенная шляпа».



«Спускаясь к хижине, я споткнулся о коровий череп».



Лесной спрут



После урагана в горах.



Погибшим в горах.



Лабрадор-полиглот.



«Между страницами лежал засохший эдельвейс». Эдельвейсы.



Мой друг Гулливер.



«Рай — это место, куда не ступала нога человека. Моя нога не в счёт».

Ольга Сульчинская

Такое маленькое слово

* * *

Люблю — такое маленькое слово,
Оно почти что не имеет смысла,
И я его сквозь пальцы пропускаю
И вместе с ним цветы акаций жёлтых
И добавляю через запятую
Гудящий самолёт, идущий низко,
Едва-едва не задевая крышу,
И невпопад, но твёрдо отвечаю
На все вопросы, коих я не слышу.
Я без тебя почти не существую.
Я без тебя всё время словно сплю.

* * *

А глаза у меня уже все в побегах морщин,
Резок свет апрельский богатого солнцем дня,
И я шуюсь на проходящих мимо мужчин
Без малейшей опаски: они смотрят сквозь меня.

Расскажи мне, кем я стану в конце концов —
Не бесполом ли духом, дудящим в свою дуду?
Показалось вчера, что сама я своё лицо
Не увижу, если к зеркалу подойду.

Уладишь ли ты горечь мою, заостряя слух
На капель по карнизу, на мимолётный смех,
Или сделаешь той из сторожевых старух,
Что сидит на лавке с краю — и злее всех?

Сульчинская Ольга Владимировна — поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и Высшую школу гуманитарной психотерапии. Работала редактором, психологом, копирайтером и др. Печаталась в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Арион» и др. Автор трёх поэтических сборников. Живёт в Москве.

* * *

Я хочу о тебе говорить туда,
Где бомжует Бог, тянутся провода,
А по ночам, когда расходятся облака,
Открывается вселенская ДНК.

Я хочу тебя выговорить, облечь
В самый прочный скафандр, свою человеческую речь,
В оболочке слов выдохнуть в небосвод,
Вписать в информационный код,

Чтобы каждый раз, как рождается мирозда-
ние, в нём зажигалась ярко твоя звезда
И ты по ночам видел её в окне,
Если получится, с памятью обо мне,
Ну а нет — так нет.

* * *

Мой сосед перед смертью оставил записку:
«Если я вам не нужен, я ухожу».
Пристроился на лампочке в туалете,
Накинул петлю и был таков.
Седой и сморщенный, пил страшно, буянил,
Стучал кулаком по фортепьяно.
Его взрослая дочь преподавала музыку.
Шопен перемежался матерным криком.

С тех пор я иногда вспоминаю
Последние слова старого алкоголика
И думаю, мог ли хоть кто-то сказать ему:
«Не уходи, останься, ты нужен»?
Кто в минуту окончательного отчаянья
Произнесёт формулу спасенья?
Кто это скажет, кто?

Поездки в любую точку

И какой меня бес туда понёс,
И какой меня голос туда позвал,
И куда меня этот таксист завёз,
Он, конечно, и сам не знал.

Через мост над мазутом ночной реки,
Через чёрные дыры промзон, трущоб,
Через площади памяти и тоски
И не знаю чего ещё.

И снаружи размазались по стеклу
Очертанья знакомых лиц, рук,
А ревуший мотор летел во мглу,
Разрывая всё, что вокруг.

На пути внезапно возник вокзал,
Тормоза и шины издали визг,
И таксист «приехали!» мне сказал
И толкнул что есть силы вниз,

Где пространство и время слепились в ком,
Нераздельны сделались свет и тьма
И нельзя не то что найти свой дом,
Невозможно даже сойти с ума,

И никто ничем не мог помочь,
Бессловесный вой распухал во рту...
Доктор, я полгода каждую ночь
Просыпаюсь, падая в пустоту!

Ковёр

То ли рябь на воде, то ли беглая дрожь
По стеклу, то ли в воздухе струнка сквозная.
Мне никто не напишет, когда ты умрёшь.
Я об этом, наверно, никак не узнаю.

Мне никто не расскажет, как ты постарел,
Предъявляя дурной результат фотошопа.
Не смешите: он молод, красив, загорел
И беспечен, как бог автостопа!

Я иду по ковру, мы идём, пока врём,
По цветущим коврам золотого июля.
А под вечер мы вместе обнявшись уснём —
И никто не узнает о том, что мы вместе уснули.

Михаил Балабин

Правильно — любить

Рассказы

Джедай из Зауралья

Родом он был из Зауралья, то есть из той неопределённой местности, что касается на западе великой реки, а на востоке, верно, вообще не имеет границ. Где-то там, по направлению от магнитной горы Атач к свинцовым водам Чукотского моря, среди тайги и плоских уродливых городов он родился и жил.

Я наблюдал тогда, как растаскивают хлебокомбинат, а он писал стихи для местной газеты. Мы встретились в Тайшете, городе из сломанного асфальта. Поздним летом, мотаясь с главным инженером по улицам, я услышал крик. Сцепились двое: шуплый кругляш и двухметровый с глазами овцы. Кругляш рвался и тянул на себя пакет. Давила жара, пахло пылью и липой. Я смотрел сквозь опущенное стекло, но не успел разобрать, как бесшумно разошёлся пластиковый шов, и на тротуар посыпались книги.

Кругляш замер, ладони его затряслись. Казалось, сейчас он упадёт на колени подбирать книжки, словно старуха мельхиоровые рубли. Но он только вскрикнул, взъерошив волосы, и запрокинул руки. Со скрюченными пальцами он бросился на двухметрового, но был остановлен ударом в рот.

Мы помогли ему подняться и довезли.

Звали его Юлием Кругликовым, или просто Юлей. Был он небрит, взлохмачен и взволнованно говорил. Невысокого роста, в квадратных очках, он рассказывал про Набокова. Я помню, как он дико смотрел, утирая от крови губы, словно пытаясь разглядеть в нас подвох.

Наверное, я сразу не понравился ему.

Балабин Михаил Анатольевич — кинорежиссёр, прозаик. Родился в Иркутске. Окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Печатался в журналах «Юность», «Сибирские огни», в издательстве «ЭКСМО». Победитель и призёр ряда литературных конкурсов, участвовал в Международном форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (Липки) и в творческом кластере «Таврида». Живёт в Санкт-Петербурге.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Узнав, для чего мы здесь, Юля бросил: «Притормозите...» И скрылся не попрощавшись.

Позднее я встречал его во многих местах за тысячи километров. Иногда он сидел согнувшись за сломанным компьютером в газете «Вечерний Черембас» или печатал в промёрзшем Ленске на фоне сейфа, заполненного рассадой. Мне нужно было дать объявление. Он спрашивал:

— Молоточничаете?

Мы вяло ругались.

Иногда он читал стихи. Что-то про птицу. И смерть.

— Я последний джедай, — говорил он. — Не перебивайте меня...

Юля Кругликов был химиком, но ничего не понимал в кислотах. Возможно, он выбрал химию, чтобы не заболеть ею, пропустив «на тройку», как многие пропускают жизнь. Он играл на гитаре, но пел фальшиво — у костра его терпели и смеялись.

И когда он протянул лилию, Катя Коротаева тоже прыснула, не понимая.

Он хотел сказать, что это дикий цветок, одинокий и пугливый, срезанный утром на берегу. Белый и хрупкий, как она. Но девушка прошла, не замедляя шага. И Юля засеменял следом, заикаясь. Катя рассеянно улыбалась, думая о своём. Стебель дрожал в её тонких пальцах, и лепестки осыпались, как снег.

Иногда они встречались. Ей нравилось слушать Юлю. Расспрашивая, она никогда не доходила до конца. Вдруг обернувшись, Катя сбивалась, показывая на низко летящую чайку или облака. Иногда она и сама казалась облаком. Порою он слегка касался её руки, а она обнимала его ладонь пальцами.

Ветер перебирал тени на залитых солнцем парапетах, оставляя дни вспышками света в памяти. Они исчезали, как просмотренное кино.

Исчезла и Катя. Телефон пах пластиком. Пластиком пахли далёкие гудки. Юля сочинял стихи и диктовал сообщения, он оставлял их, сворачивая корабликами или фигурками птиц на пути, где она могла пройти. Он слонялся под окнами, вода стекала по лицу, сырые листья налипали на пальцы и пахли увядающе-жёлтым.

Катя исчезла, а он свернулся, поджав ноги к груди, и пролежал так несколько лет. Наверное, что-то зародилось в это время. Наверное, что-то умерло. Ему дали диплом.

Да, Юля Кругликов не стал химиком.

Он начинал безразлично, двигаясь из конторы в контору, как насекомое, едва пережившее оцепенение зимы. Но звук принтеров и движение машин оживляли внутри скрытые ритмы. Юля Кругликов писал стихи. Он отправлял их за Урал по электронной почте, но ветры над горой Ямантау сглатывали провода, и строки исчезали по пути. Он отправлял письма в пустоту.

Были местные газеты. Ослеплённые восходящим голосом Интернета, потерянные и ненужные, они скитались во тьме рекламных заголовков и политической заказни. Они печатали стихи Юли, обрезая их подписью: «Читатель М.Филипенко, с. Красный Чикой». Денег не платили, и Юля стал журналистом. Он врывался к вороватым начальникам и терзал их на страницах газет «Даёшь!», «Лесная тревога», «На рельсах гиганта»...

Я встречал его в те дни. Юля сидел, шевеля носками сквозь прорези сандалий, и жестикулировал.

— Я последний джедай, — говорил он. — Вы знаете, что джедаи должны быть спокойны как снег? В этом вся соль, иначе ничего не получится... Нет страха, нет ненависти, нет любви! Ничего нет, — он поправлял очки. — Даже меня... Только покой и равнодушие... Я сажусь в позу лотоса и замираю...

Но просидеть так долго Юля не мог. Что-то ворочалось и скрипело глубоко в груди, ноги затекали, и он срывался, чтобы размяться. Хлопали шершавые двери, печатались статьи.

Рассказывали, как Юля разгромил мэра Кустина, но упал, сражённый клюшкой для гольфа. Упал возле гаражей, и ещё три часа его не могли найти. Реанимация ничего не обещала. Он пролежал без сознания шесть дней. Но уже через месяц Юля бежал из больницы, не выдержав запаха хлорки, гулких звуков посуды, куда наливали еду, и неумолкающего переносного телевизора.

Он уехал. Он вообще очень часто менял города, скитаясь на пустых просторах, залитых однообразным солнцем.

Время газет мельчало. Исчезли заголовки про драчливых депутатов и голубоглазых воров. Настало время объявлений и гороскопов. Они сдвинули анекдоты, ужали телепрограмму и фото местных широт. Никто больше не печатал ни писем читателей, ни читательских стихов. Юля Кругликов одичал, бросив работу, и писал заметки в революционный блог. Он долго болел и всё чаще заикался. Его читали, но мало. Подписчики жаловались на избыток лирики. Они не любили стихов.

— Уезжайте в Москву, — советовали ему.

— Это будет п-п-предательство... — отвечал Юля.

Заметки выходили всё реже, но не потому, что Юля сдался. Он скрылся в серую природу, где недоступен был интернет. В заброшенных местах и голых посёлках Юля бродил, отбрасывая длинную тень своего короткого тела на равнодушную местность. Взмахивая фонариком, словно разрубая ночную темноту, он томился и голодал — писать в этом пространстве было некуда.

Однажды, заехав по делам в областную столицу, он снова повстречал её. Катя выходила из авто, отражая два безупречных сапфира в полированной дверце, а он нёс картошку. Споткнувшись, Юля едва не упал.

Потом ели сосиски, сидя на набережной, и он рассказывал, не замечая, как брызги кофе моросью оседают на воротничке. Тёмные нитки морщинок пробегали в уголках её глаз, когда Катя смеялась. Она странно смотрела — что-то нежное и хрупкое скользило в этом взгляде. Почти не заикаясь, Юля читал стихи. Облака проплывали по небу, как тени, Катя касалась его пальцев холодным стаканчиком из-под колы и улыбалась.

Из тёмных прорех наверху расплавленным золотом горело солнце. Моросил дождь.

Но кола закончилась, и Катя потянулась за сумочкой. Смахнув с экрана чужое лицо, она показала двух малышей. Близнецы смотрели задумчиво и печально, словно античные сосуды.

Кола закончилась. Катя покинула его.

Кругликов пытался пить, но не смог — у него был больной желудок. Распродав последнее, он скрылся в пространстве сибирских рек. Он шёл по течению, обходя массивные плотины. Юля писал заметки про чахлый быт тоскливых рыбаков, движение барж и достижения полей, но их не печатали, как не печатали стихов. Его не осталось в сети — поговаривали, что он умер или просто растворился в тех бездонных местах, у которых не спросишь ответа.

Кругликов объявился внезапно, и быстротечная его слава сияла красным. В глухом селе к северу от Селенги, к югу от Карского моря объявили выборы. Двери начальной школы расколотили и внутрь затащили урны из царапаного пластика, оборудовав участок голосования. Люди тянулись неохотно, мнимые водкой и музыкой. Здесь объявился и Кругликов. Он шёл, заросший и грязный, а за плечами его, обвязанный верёвками, висел аккумулятор. Переведя дух, он молча оглядел избирательную комиссию. Пройдя тяжёлым маленьким шагом, он стащил со спины заполненную свинцом батарею и с грохотом бросил её на стол перед лицом председателя:

— Вот!

— Что это? — не поняли его.

Кругликов постучал по раздутому корпусу грязным пальцем:

— П-п-плоды земли... Мы засеяли наши поля м-мышьяком, мы вскормлены на молоке из свинца, они проникли нам в кости, отравили в-воду! Наши зубы искрошились, наши лёгкие пропитаны кислотой, и я спрашиваю тебя, где наши д-д-дети!?

Кругликов распалялся всё больше, и кто-то первый поддержал его.

Народ обрушился на урны и ширмы, выграв водкой и гневом, требуя разнести и сжечь аккумуляторный завод. Милиция не отвечала — телефонный кабель украли, а сотовой связи не было. Рассказывают, как Юля лично вытащил председателя избирательной комиссии во двор и, сверкнув очками, приговорил к расстрелу. Однако за неимением пуль наказание было смягчено ссылкой.

Кругликов объявил республику и, разорвав списки, приказал изготовить новые бюллетени. Вывалив из урны бумажки, местные буряты переголосовали и выбрали его. Шесть дней издавала декреты и указы Республика.

И не было на Земле справедливее её.

А на седьмой Кругликова посадили. Но сажали тогда ненадолго, и через год Юля вышел в привычную пустоту жизни. Он брёл в старых шортах по остывающим улицам осени, наблюдая движение чужих городов.

Последний раз я видел его в редакции.

Юля Кругликов постарел. Щёки его покрылись седой ржавчиной, а макушка обнажилась — бледная, как скорлупа. Он редактировал газеты. Газеты закрывались. Он редактировал. И всё повторялось вновь.

Я никогда не забуду тот вечер. Он сидит на вертящемся стуле, спинка отломана, и печатает текст. Вдруг оборачивается, услышав шаги. Растянутый свитер, глаза царапают из-под очков.

— Вот, п-п-послушайте, — говорит он вместо приветствия. — П-послушайте:

Ирина Барабанова

Дитё Советского Союза

Рассказы

Варвара

Клубника без сахара

У Варвары муж без ног, два кота и рассада клубники. У неё дом, огород и очередь за пенсией. Раньше почтальон приносил, а сейчас надо самой. Третий день ходит. Боится потерять талончик с номером 115.

Она поднимается раньше солнца, чтоб истопить плиту, выпить кипятку без сахара и пойти за «гуманитаркой». В прошлый раз давали какие-то непонятные пакеты с крупой без запаха и вкуса. Она её варила как обычный рис, а та ж сразу набухла и превратилась в кисель. Как такое есть? Но съели. А куда ж деваться? Не те времена, чтоб нос воротить.

А вот сегодня вручили батон, два пакета рожек, бутылку подсолнечного масла и палку копчёной колбасы.

Варвара с улыбкой победителя показывает мне её в окошко телефона.

— Ты ж подумай, Ирочка, какая роскошь! Мы такую вот колбасу и в мирные дни не покупали. А тут вот на тебе, пожалуйста. Шас-шас, погоди, покажу консервы ещё. Не понимаю, шо тут написано на них. Може, ты разберёшь? Но мы с соседкой, когда до хаты ковыляли... ты ж сама понимаешь, всё ж у нас тут побито войной... улиц ж нету теперь. Там, где козочка проскачет, двум старухам не пролезть. Короче, вертели туда-сюда эту вот пачку непонятно с чем. Но похоже на котлеты. Може, Ирочка, ты сейчас молодыми глазами прочтёшь и скажешь, шо не котлеты. Но нам, бабкам, хотелось бы, чтобы это были котлеты, — улыбается.

Барабанова Ирина Аркадьевна — журналист, копирайтер, писатель, поэт, историк искусства, сценарист. Родилась в Казани. Окончила Казанский Государственный Университет, учится в магистратуре РГГУ — «История зарубежного искусства XV — XX вв.: контексты и интерпретации». Автор книг «Странная девочка, которая не умела как все», «Метафора» и др. Участница проектов АСПИР. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 8.

Варвара поправила седую прядь. Потёрла сухими пальцами белый нос.

— Не, Ирочка, у нас не холодно. Шо ты, дивчинка. Не-е. Градусов одиннадцать точно. Я ж топила вчера вечером. Газа нет. Шо ты? Какой газ? Углём и дровами. Но это коты мёрзнут да рассада. Мы с дядькой Петром привыкли, нам нормально. А в целом у нас всё хорошо, не надо, не переживай. Утром супчик из рожек сварила... Бахают? День и ночь бахают. Так мы привыкли. Сколько лет же бахают. Думаю, в этот раз нас уж сильно бомбить не будут. В четырнадцатом же сильно так побили, хватит. Пусть в этот раз пропустят. Кто бахает? Да какая разница? Поди ж разбери из окна. Много мне отсель видно? Ой, посмотри, кто пришёл! Харитон! Харитончик наш. Котик. Ласковый такой. Под одеяло ко мне заберётся и спит. Мне тепло. Ему тепло. А как сегодня ночью бахнули, ставни послетали, а стёкла ничего. Я их скотчем как заклеила восемь лет назад, так они там и есть до сих пор. Ну, значит, бахнули... Може, в центр города снаряд прилетел, не знаю. Харитон как подпрыгнет к потолку, как закричит. Я говорю: ну шо такое? А он глазами вращает, как будто ему хвост оторвали. Прямо нежный какой. Молодой, неопытный. Весь день сегодня не ел. Гулять не ходил. Боится. Мы вчера в очереди стояли. Как шум начался, народ к стенкам потикал. Зачем? Там же быстрее прибудут, глупые. И в подвал я не пойду. Это ж всё равно, шо добровольно в могилу сойти, щоб меня там заживо и засыпало? А ты вот сама вразумляй, как это сидеть в морозилке при двух градусах. Не-е, я так считаю, мой дом — моя крепость. Он меня защитит.

Варвара живёт в Лисичанске. В своём доме, на окраине. Здесь родилась, выросла, замуж вышла. На этой земле её родня, друзья, знакомые. У Варвары два сына: один в Канаде, другой в России.

Утром она выслушивает по телефону политинформацию от одного своего ребёнка, как наступают «наши», а вечером от другого — как тоже «наши», но с другой стороны. Кивает, молчит, не спорит.

— Нет, нет, Ирочка, никуда я не поеду. Мне всё равно, под какой властью жить, лишь бы перестали стрелять. Шо я обо всём этом думаю? А шо я могу думать, когда сама дитё Советского Союза? Я не думаю, я горюю. Как мать горюю. Это ж сердце так из груди достать и на части покусать. Когда твои дети воюют друг с другом, тебе шибко за политику? «Правда» — она ж на бумаге только. Газета раньше была. Называлась так. А в жизни-то она у каждого своя. Каждый за себя стоит, свою выгоду выгораживает. У меня два племянника пошли воевать. Один с россиянами, другой с украинцами. Я ж с колен не встаю, молюсь, чтобы Бог отвёл братоубийство. Но слышит ли Он меня? Хочу, чтобы слышал. Я не жалею за условия. Мы и холод, и голод перетерпим. Нам с Петро и не такое видеть приходилось. Послевоенное поколение. Всякое бывало. Мама нас в речке купала. Ямку откапывала на бережке. Вода набиралась, согревалась немного, и она малого в неё погружала. И хлеб из кукурузы нам слаще пряника казался. Это не беда. Совсем не беда, ридная моя. Беда, шо танки эти с двух сторон по груди моей елозят. А так всё хорошо. Всё хорошо. Не надо плакать. Не надо. Я войны не боюсь. Мне умирать

некогда. У меня двенадцать грядок клубники. Мне ещё с ней разобраться надо. Это небыстро. Правда, сахара варить её нет. Но ничего. Так будем есть. А ещё, вот посмотри, тюльпаны. В этом году много цветов посадила. Как закончится война, ты ж приезжай до нас. У нас тут и белки летом прибегают, и ёжики приходят. Хоть поешь настоящих ягод с огорода, а то шо, у вас там в Москве разве такое купишь?

Картошка без соли

Варвара сломала ногу. Взрывной волной её на грядке подняло и к забору откинуло. Попыталась встать, не смогла. Упала на мокрый целлофан. Хотела поразбираться с рассадой, да вот ж беда. На боку поползла до крыльца. Дотянулась до телефона, позвонила племяннице. Вечером на разбитой легковушке сосед отвёз её в Луганск. Там уставший небритый человек в пятнах чужой крови на сером халате протёр пальцами очки и сказал:

— Закрытый перелом. В хорошие времена положена операция. А сейчас даже гипс наложить не могу. Анальгетиков тоже нет. Зафиксируем подручными материалами, и езжайте домой. Лежите, ногой не шевелите.

Варвара кивнула. Закусила от боли край платка. Скорее б уж до хаты. Там Петро лежит голодный и скотина не кормлена. Утром дождь был, кабы тюльпаны не побил. И кто теперь за пенсией пойдёт в очереди стоять? Ох, боль какая! Аж до печёнок дыроколом пронзается. Опухла нога. В сапог не влазит. Галоши надо поискать. Галоши должны найтись.

— Бахають, бахають, слышь, Варвара?

— Угу.

— Лишь бы не накрыло нас тут с тобой на дороге. Я б пожил ещё. А как собака валяться в поле не хочу. Кто нас тут с тобой будет искать, хоронить?

— Угу.

— Да и гробы, говорят, уже давно закончились. Всё-таки лежать в гробу приятнее, чем с червями в сырой земле обниматься. Н-да, хороший, добротный гроб — роскошь, скажи?

— Заткнись, Микола! Заткнись, умоляю тебя! И так тошно. В хате нетоплено, в кастрюле неварено. Петро, небось, весь мокрый лежит. А через час сыночка звонить будет, на начальника жаловаться. Там, у капиталистов этих, такая тяжёлая жизнь. Всё они что-то недовольны, всё что-то людей мучают. И так им не так, и эдак не эдак. Замучился Юра мой с ними. И уволиться нельзя. У него ж семья, дитё, и платить за жильё надо.

— А он где у тебя? Это старшой который?

— В Канаде. Далеко, за океаном. Там Америка, говорят, рядом где-то. Но я никогда там не была, сама не видела.

— За лучшей жизнью, значит, уехал?

— Да какая лучшая-то она, жисть эта? Жинка нервная, всё зубы скалит по телефону, но по-нашему никак не разговяет. Всё по ихнему шпрехает. На вид вроде баба ничего — кудрявая. Но Юрка неухоженный какой-то, тощий,

уставший. И до мамки ж далеко. Умыться мне надо скорее. Шоб не пугать видом своим ребёнка. Доедем до ночи-то?

— Если не пристрелят, то есть шанс.

— Хорошо.

— А што Пашка? Проявляется?

— А как же? Он теперь ширый россиянин. На татарке женился. Щёки в телефон не помещаются. Дивчинка у них весёлая, малая такая. Кричит мне в прошлый раз: «Бабуля, бабуля, пойдём покемонов ловить!»

— Это кто?

— А хрен его знает, Микола. Но дитячко такое ридное. А мне ж и гарно.

— Да, понимаю. Что сморщилась? Болит?

— Да не то ж шоб болит, тягает как-то. Словно кто-то оторвать пытается, а другой не пускает. Ох, беда-беда, Микола. Умыться надо, Юрочка скоро звонить будет.

— Кабы нам связь не перебили, а то... Ой, вот опять. Слышишь бахают?

— Угу.

— Тогда молись, будем прорываться.

Варвара сама из машины достаться не смогла. Сосед вытянул и поволок. По мокрой земле, по склизкой тропинке до крыльца. Пнул ногой дверь. Добрались до скамейки. Там сгрузил бабку на диван и сел краем рукава утирать пот с глаз.

— Тяжёлая ты баба, Варька. На вид щуплая, мелкая. А на подъём — что гранитная плита.

— Прости, Микола, прости. Дай Бог тебе здоровья и жизни длинной.

— Да, жисть сейчас важнее наживы. Пить охота. Есть чего?

— Варя, Варя, это ты?! Ты это, жинка?!

— Да-да, я, Петро, я. Обожди чуток, очухаюсь и доползу до тебя, Микола, вода там, ведро отодвинь, да-да, там. Черпай. Кружку сам найди где хошь.

— Найду, сам найду. Сиди, бабка. Пойду Петро проведу. Може, подсоблю чем.

Варвара кивнула. Ногу сильно дёрнуло ещё и попустило. Голова поплыла, тошнота подкатила, тело обмякло и обступила темнота. Такая тёплая, ласковая и бесконечная. Господи, полегчало. Слава тебе, Господи! Слава тебе! А шо там Юрочка? Звонил ли уже? Как он там, ридный хлопец?

— Мама! Мама!

— Юра?

— Не, Паша, это я — Паша! Мама, слышишь меня?

— А як же, сыночка. Кровиночка моя. Шо там? Как же ты?

— Хорошо всё, мам. Что сказал врач?

— Врач?

— Мама... Ты понимаешь...

— Варя! Варя, ты чего? Я там убрал за Петро. Он там сам погрыз што-то. Из гуманитарки. Х...ю сладкую. Сказал, шо не голодный. Ты-то как?

— Дякую тебе, Миколочка, дякую, ридненький.

— Прекрати кисель разводить! Куда тебя оттащить? И пошёл я. Ноги не держат.

— Паша звонил, что-то сказать хотел... а я не услышала...

— Никто не звонил! Прекрати тут это всякое! Куда волоочь тебя?

Варвара кивнула. Мгла обняла и запеленала. А Юра? А Паша? А Петро? Харитон и Муся? Клубника? Тюльпаны? Нога? Боль, как тысяча стрел в сердце, и никакой пощады, никакого снисхождения, ни конца ни краю. Темнота.

Ночью летели грады. Город вздрагивал, закручивался в воронки и укрывался дымом. Где-то огонь жадно лизал землю и обвалившиеся крыши. Ангелы с обожжёнными крыльями уводили души в туннель. Собаки кричали, чтобы их забрали с собой, не оставляли в неведомом мире. Но их слышали только коты — Харитон и Муся, забившиеся под крыльцо.

Варвара спала, замученная болью. Петро стонал во сне. Солнце не хотело возвращаться. Но пришлось. Кто-то могучей рукой словно вытащил его за шиворот и швырнул в чёрное небо. Оно вскипело от негодования, налилось пурпуром гнева и набросилось на аморфные облака.

Варвара проснулась, попыталась встать и упала. Нога распухла и посинела.

По сухому и распаханному глубокими канавами морщин лицу потекли слёзы.

— Господи! Господи милосердный! Как же я теперь? Неужели бесполезная? Себе обуза и за Петро доглядеть не смогу? Обуза! Ох, как же? Как же, Господи?

— Варвара?! Петро?! Это я, Наталья! Живы?

— Здесь, здесь мы!

— Вот и чудненько. Поесть принесла тут маленько. Потом собирайтесь. Микола сказал, что отвезёт вас до свояченицы. Тю, Варя, чего ты тут мокроту развела? Не плачь, тётка, лучше глянь, какой день народился. Весна. Птички вон как запузывают. Война войной, а жисть продолжается. Вон и тюльпаны твои головки задрали. Давай подымайся. В гости поедem, Лидию твою навестим, отвезём ей картошки, а то, небось, за зиму-то подъели всё. Да и разве там у них в городе такую купишь?

Тюльпаны без воды

Варвара очнулась. Темно. Запах хлорки и жжёной резины. Холодно. Есть тут кто? Это морг? Господи! Если это ад, то прости, сохрани и помилуй. Тихо. Не бахают. Всё-таки в смерти есть выход. Пусть зубы стучат и желудок сводит, зато... Господи, что дальше? Куда дальше? И боль. Неужели и здесь нет от неё освобождения? А сердце матери таки горюет за Юрочку и за Пашу. Как теперь от них весточку получить? Разрешит ли небесная канцелярия ещё свидеться с сыночками? Охо-хо-хо, нет покоя и там, куда все уходят на покой.

Анна Пестерева

Два рассказа

Где мой сын?

Лена дёргала Колю за рукав куртки, пока тот хныкал вечное «купи-купи-купи», ведь этот ребёнок хотел сразу всего. Ел, пил, орал за двоих. Зато такой хороший и добрый мальчик. Смысл её существования, которого ещё шесть лет назад не было, а он взял и, слава богу, родился. И требует теперь конфеты с мягкой карамелью. Схватил пачку крепко, как умеют делать только бульдоги и дети. Вцепился, словно в чужую игрушку на детской площадке, в выпавший фантик, найденный в парке на прогулке, в собственную жизнь и вот-вот заорёт: «Купикупикупикупикупику...»

Лена понимала, что надо бы сына успокоить, но она этого не умела. Ладно, ты пока постой тут, а мама сбегает за хлебом и вернётся. Да-да, и купит тебе эти конфеты. Нет, вот эти — уже не купит. Только одну пачку, две нельзя. Почему-почему? Потому что попа слипнется. Не реви! Мама пошла купить хлеб, ты подумай, какие хочешь, хорошо? Никуда не уходи! «Уйдёт он, как же! — думала Лена, пока заворачивала в соседний ряд. — Его оттуда за уши не оттащишь, придётся, видимо, две пачки брать. Но это неправильно, должна быть какая-то строгость. Одну!» Наедине с собой она становилась увереннее.

Магазинчик находился в подвале и напоминал по своей разветвлённой структуре катакомбы. Единогo зала здесь не было, зато нанизывались друг на друга несколько закутков и небольших комнаток с холодильниками для молочной продукции, рядами с крупами, стеллажами с консервами. Лена бродила между ними и прислушивалась к сыну: он шуршал упаковками и шмыгал громко носом. Видов хлеба на витрине было много. Лена растерялась из-за необходимости выбирать. Она сравнивала составы, смотрела дату изготовления, но в итоге даже не определилась: чёрный или белый ей хочется? Наверное, чёрный — он полезней. А белый вкусней, особенно с паштетом.

Пестерева Анна Владимировна — писательница. Родилась во Владивостоке. Окончила магистратуру НИУ ВШЭ «литературное мастерство». Работает редактором. Автор повести «Пятно» (2024). Печаталась в журнале «Юность» и коллективных сборниках. Участница проектов АСПИР. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 5.

Прошло минуты три-четыре. Она забыла о сыне, в голове крутились только вычитанные на упаковках ингредиенты: ржаная мука обдирная, отруби полбяные, дрожжи хлебопекарные прессованные, кунжут, патока. Краситель? А это тут зачем, интересно? Тишина, которую Лена осознала вдруг, стушевала мысли. Магазин был будто пустой, Коля не возился с конфетами, не кричал маму, его вообще не было слышно. Лена сунула под мышку какой-то хлеб, заметила краем глаза, что это был «Геркулес зерновой», — хоть так уже выбрать что-нибудь — и побежала обратно. Она заглянула в знакомую галерею и вскрикнула. Несвязные звуки вырвались изо рта, будто она по какой-то причине забыла, как говорить.

Они стояли посередине прохода, глядя прямо на Лену, как будто знали, что она выбежит именно сейчас. Не двигались, держались расслабленно, ничего не смущаясь и не пряча взгляда. Они даже улыбнулись, когда увидели её, — оба сразу. Её сын Коля. И тот второй — её сын Коля. Два неотличимых друг от друга мальчика с одинаковыми лицами, глазищами карего цвета, особым завитком русых волос на макушке, закрученным штопорообразно. Оба в одинаковой одежде: поношенная курточка, джинсы, запачканные снизу, побитые неаккуратной ноской ботинки. В памяти возникли небылицы про доппельгангеров — злых двойников, про подмену душ. Сердце застучало у самого горла, мешая спокойно дышать и думать. Хотелось защитить своего ребёнка. Но кого спасать? То, что зло выглядело в точности, как её ребёнок, лишало решимости.

Лена вспомнила, что её сын, не сидевший на месте и ежечасно проверявший себя на прочность, недавно набил на лбу шишку и порезал боковую сторону ладони от мизинца до самого запястья. Она кинулась к мальчикам, приподняла им чёлки. Отметины на лбах были у обоих, как и царапины на руках. Коли смотрели на неё четырьмя любящими глазами. Они не удивлялись себе и своему количеству, только Лена почему-то страдала.

— Коляша! Коленька! Сыночек.

Оба мальчика сделали шаг к ней, почти синхронно обняли и повисли на шее, вплетая в распущенные волосы с двух сторон тёплые дыхания. Кого Лене нужно было обнять покрепче, а кого оттолкнуть и бросить здесь? Она хватала мальчиков за лица — сначала одного, затем второго, — заглядывала в глаза, но там не было ответа. Что творится-то? Над головами прогремел голос:

— Подвиньтесь, ну. Встали, не обойти, не объехать.

Лена подняла взгляд — плотный высокий мужчина в дублёнке нараспашку и с тележкой нависал над ними. Она поднялась, стряхивая с себя детей, обхватила — своего и чужого — и отодвинулась к стене. Мужик толкал скрипучую тележку вперёд. Неожиданно для себя Лена ухватила за его рукав. Она не знала, что делала, — иногда так лучше.

— Простите.

Мужик посмотрел придирчиво, но остановился и Лениной руки не убрал.

— Простите. Вы. Это, может, странный вопрос, но ответьте на него, пожалуйста.

Лене было и холодно, и жарко, глупость ещё незаданного вопроса почти валила с ног. Так стыдно ей было только в школе у доски.

— Вы видите разницу между этими двумя детьми? — Чувство неловкости липло к коже. — Только подумайте. Пожалуйста! Это важно.

Дети стояли спокойно, как примерные ученики на торжественной линейке. Обычные пацанята, которые бегают на детских площадках. Похожи, будто их отпечатали на принтере, ну и что?

— Они совершенно одинаковые. Одинайцевые близнецы, наверное, так это у вас называется.

— У кого «у вас»? — на автомате переспросила Лена.

— У женщин, — хмыкнул мужик и пошёл дальше.

Лена осталась в нерешительности и с двумя детьми. Она посмотрела на Колю справа, он тёр подбородок и нос, лицо морщилось от недовольства — что-то назревало. Материнское отозвалось безошибочно — вот её сын. Она обняла настоящего Колю. Тот, второй, доппельгангер, вышел из-за её спины и встал перед ними. Знакомым движением вцепился в карман куртки, поджал губы, глаза заблестели. Нет, этот её настоящий Коля, а прижимает к груди она не того. Лена бросилась ко второму сыну, забирая любовь у первого, но не донесла, а села на полу и заплакала, обнимая собственные плечи. Только в своём существовании она была уверена.

Лена едва не забыла расплатиться на кассе за конфеты. Пришлось брать две пачки, потому что детей тоже было много. Пока она рылась кошельке в поисках карточки, возникла идея, которая помогла бы всё решить.

— У вас есть камеры в магазине же?

Мониторы с видеотрансляцией стояли в углу. За ними дежурила уставшая женщина, которая спросила оборонительно-наступательно: «Зачем вам видео?!» Лена хотела соврать, но, так как не умела придумывать, сказала правду. Женщина у монитора присвистнула. Посмотрели, Лена действительно зашла в магазин с одним ребёнком. Она хотела увидеть, что сняли камеры внутри магазина, но большинство из них, как выяснилось, были муляжами. Только у алкоголя да в отделе рыбы велась съёмка. Денег на нормальную систему видеонаблюдения у дешёвого магазина, открытого в подвале многоэтажного дома, не было. Лена не унималась, мучила женщину у монитора и пыталась донести какую-то мысль, ей самой не до конца понятную. Она зашла с одним ребёнком, это все видели, выходит с двумя. И что дальше? Лена надеялась, что женщина за мониторами поможет ей разобраться. Но та ответила резко:

— Мамаша, перестаньте прикалываться. Мы принимаем жалобы только по товарам. По детям мы жалобы не принимаем.

Помолчали. Лена не хотела понимать, что ей пора уходить. Она шуршала пакетами и чего-то ждала. Может, чуда.

— Мальчики у вас какие хорошие. Тихие, ни слова не сказали, — с сочувствием к детям произнесла продавщица.

«Ведь и правда онемели», — подумала Лена, и морозец пробежал от шеи вниз по позвоночнику, будто к спине приложили холодную ложку. Коля всегда спорит, просит, доказывает, спрашивает, поёт, передразнивает, но не молчит! Она спрашивала мальчиков, как их зовут, какие конфеты из купленных они хотят, напевала любимую песню сына — он бы точно отозвался. Дети показывали

пальцами на упаковки, улыбались, кивали, хлопали в ладоши, но прятали от неё глаза. Лена механически взяла пакеты и пошла. Мальчики двинулись за ней.

Она привела домой своих сыновей, и когда те переступили порог квартиры, приняла обоих. Наверное, и порадоваться можно? Одного сына родила, другого в магазине нашла. Никаких родовых мук. Весь вечер она провозилась с тем, чтобы устроить второе спальное место для ребёнка. На следующее утро Лена начала сомневаться: а может, действительно двойня? Оба ребёнка были настоящими, из кожи, волос и положенных человеку частей тела. Отрицать то, что видели глаза, чего касались руки, было невозможно. Тогда как память — вещь лживая: то ли было, то ли почудилось, то ли во сне промелькнуло. Соседи при виде двух мальчиков не удивлялись: у каждого своя жизнь, кто же чужих детей считает. Муж с вахты вернулся, только спросил: «У нас что, двойня?»

— А что? — Лена приготовилась к серьёзному разговору.

— Ничего. Устал я. Ужин скоро?

Муж удивился только однажды, когда понял, что сыновей зовут Коля и Коля. Мы им имена не могли разные дать? Лена только плечами пожала. Про магазин она ему не рассказывала почему-то, боялась осуждения, скандала, тяжёлой руки, насмешек, упрёков — много причин. Сыновей муж признавал, обеспечивал — что ещё нужно матери? Но иногда её укачивало от сомнений: сколько всё-таки детей она родила? Ей не терпелось узнать правду. Лена хорошо помнила весенний день, когда раздался телефонный звонок. Плотная туча накрыла город, и только в небольшую прогалину, напоминавшую разинутый от удивления рот, — языком выглядывало солнце. Курьер, забрызгав Лену, скрылся за поворотом, а лужа ещё долго волновалась из-за переехавшего её велосипедного колеса. Всё вокруг было нервным и выжидающим. Даже деревья помахивали зеленеющими ветвями, как будто им было тяжело устоять на месте. Так выглядят люди, которые с трудом сдерживают эмоции.

Лена уже положила в карман телефон, но не могла понять фразу: «Тест ДНК показал, что один из этих детей — не ваш сын». Она несколько раз переспросила: «Точно? Вы уверены?» Мужчина басил, что он не может ошибаться и результаты перепроверили несколько специалистов. Она взмахнула свободной рукой, и берёза с черёмухой повторили этот жест. Лена села на бордюр, поближе к луже, в которой отражалось растерянное, глупое её лицо. «Не может быть», — сказала она, и вода безмолвно отзеркалила все движения. Лена огляделась, подобрала на асфальте камешек, погрела в руке и бросила в лужу. Та снова взволновалась, смяла и смыла отображение Лены. Со дна поднялась муть. В Лениной голове тоже было мутно. Рот сам собой открылся и сказал: «Ну ни хрена себе!» И туча на небе разинула пасть ещё шире.

Муж только что уехал на новую вахту, ей не с кем было поделиться. Да и сказала бы она ему такую новость? Ему нужна хорошая семья, уже готовая и сложенная, разбираться в этих женско-детских проблемах он не любил, злился. Один из сыновей точно был не её. На электронную почту пришли результаты

Анна Безукладникова

Тетрис

Рассказ

Когда у Толика умерла мама, на реке треснул лёд.

Хоронили втроём: Толик, отец и знакомая матери, пожилая суетливая женщина. Имя её Толику не запомнилось, обычное было имя, возможно, Светлана. На кладбище народу почти не было. Где-то в деревьях щебетала птица, и Толик подумал: «Может быть, к хорошему». Птицы были даны ему для уверенности и поддержки: например, если количество голубей во дворе чётное, то перед сном Толик посмотрит кино; если мимо окна пролетит ворона, то надо вынести мусор и так далее. Светлана, или, может быть, Анна, помогала разобраться с похоронными хлопотами, у неё был опыт: в прошлом году умер муж, а недавно — сын. Без неё было бы трудно понять: что, куда и кому.

«Вскрытие показало, что тромб оторвался», — сказала вчера эта женщина возле морга, двухэтажного здания, окрашенного в розовый цвет. Патологоанатом — грустный парень с красным отёчным лицом, курил на крыльце. Он видел голую мать Толика. Снаружи и изнутри. Толик держался все эти дни, но тут не выдержал и зарыдал, женщина похлопала его по плечу, велела идти за ней к остановке.

«Салаты и пироги закажем в кулинарии», — говорила Анна, когда они сели в автобус. Хотя вроде бы всё же её звали Нина. И ещё она говорила всякое, а Толик ехал и не слушал. Пытался представить, какая там сейчас в морге лежит его мать. Она была худая, а он всегда толстый. И отец худой, и сестра тоже. Толик в детстве думал, что он им не родной. Двадцать лет назад стеснялся бегать на физкультуре, потому что все его дразнили Мешок С Говном. Никто его не любил никогда. Кроме матери. Так она ему всегда говорила, и это было правдой.

«...И с утра надо будет пораньше, понял, Толя?»

Безукладникова Анна Владимировна родилась в 1987 году в г. Кудымкаре Пермского края, получила высшее образование в сфере юриспруденции. Участница литературного клуба «Конь текста». Печаталась в журналах «Сибирские огни», «Знамя», «Юность», «Пашня». Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Приехали пораньше. Мать лежала в гробу с туго натянутой бледной кожей, наклонив голову набок, словно задремала. Оставила после себя всякие дела: кастрюля после супа немытая в раковине пятый день, а в ванной — таз с недостиранным нижним бельём. Если бы сестра смогла вернуться, было бы попроще, но она в последнее время вообще редко давала о себе знать, а на новость о смерти матери ответила: «Ясно». Не до неё, ладно. Отца было жаль, он будто бы тоже три дня назад в семнадцать сорок пять умер вместе с матерью, просто не до конца. Оделся на похороны криво-косо, шарф забыл повязать, ну это Толик недосмотрел и теперь переживал вдвойне. Хотя и птица щебетала, и солнце ещё грело — того и гляди растает весь этот снег. Мать ушла от них куда-то дальше без спроса, без наставлений. Как теперь дальше жить без неё? Что делать с кастрюлей и бельём в ванной? Так думал Толик после похорон, глядя с пригорка на реку, по которой теперь нельзя ходить на другую сторону. Страшновато, провалишься ещё.

Жизнь Толика была организована матерью и работой на складе оптовой базы. Туда он устроился полгода назад, хорошее место. Единственное, куда пригодился такой, как Толик, — «без опыта работы, после сорока, с инвалидностью». И платили какие-то деньги. Главное, что была работа. Каждое утро Толик вставал и шёл на кухню. Отец обычно сидел за столом. Мать стояла у плиты и готовила: или овсяную кашу, или блины. Иногда бутерброды, если было в холодильнике вкусное — с пенсии Толика — вроде колбасы или сыра.

«Доброе утро», — например, говорил Толик. Или: «Привет, мам, пап».

Они завтракали, потом Толик собирался на работу. Отец шёл в комнату смотреть телевизор. Мать складывала обед с собой в два контейнера: горячее и салат. Толик уходил на работу, и на складе ему нравилось: большое светлое помещение с высоким потолком и много дел. Принимать, ставить туда-сюда, переносить, пересчитывать. Когда делать было нечего, — играл в тетрис. Электронную игрушку на батарейках ему подарила однажды мать. Толику нравилось управлять падающими сверху фигурками, укладывать их так, чтобы сгорали ряды. Падали и падали фигурки, Толик набирал очки до тех пор, пока не уставал большой палец, затем сдавался: фигурки громоздились выше середины поля и ещё новые летели быстро, ничего не успеть.

Вечером он шёл домой. Отец так и сидел в комнате, менялись только телевизионные передачи. Мама или стирала, или готовила ужин. Перед сном Толик снова немного играл в тетрис, а потом просил у Бога жену. Затем отворачивал икону к стене и справлялся со своими желаниями самостоятельно. После, засыпая уже, думал: «Да зачем жену, если нормально и так».

Дурак, ничего не нормально оказалось, ругал себя Толик.

Всё равно хотелось жену. Красивую, как соседка сверху, Агата. Хоть и была она давно и счастливо замужем, Толик радовался, когда видел её во дворе. Ему хотелось поговорить с ней о чём-нибудь, но никогда не получалось нормально. Просто краснел и кивал на её «Толя, здравствуй».

Недавно, после старого фильма о несчастной любви, чувства к Агате забродили в Толе, как старый компот, начали подкатывать к горлу и вырываться наружу. Хотелось немедленно на неё посмотреть. Повод нашёлся быстро — в ящике трюмо лежали квитанции, коммунальщики насчитали там больше, чем обычно. Попросить помощи, разобраться... Толик поднимался, чуть ли не пританцовывая. Репетировал в голове вопрос, который надо было задать максимально безразлично, но жалостливо.

Третий этаж, налево. Дощатая дверь с медным ромбиком «18». Звонок — кнопка. Агата открыла дверь не сразу, Толик даже думал уходить не дождавшись. Пахнуло жареным луком.

— Толя, здравствуй. Чего тебе?

Глаза у неё живые и свежие, нежные глаза. Было в них то самое, от чего у Толи задрожали руки и заколотилось в ушах сердце, чуть не оглох.

Голос у неё мягкий с кислинкой, как с грампластинки, Толику казалось, что он вишнёвый.

Сиськи, спрятанные под халатом, скорее всего, твёрдые и тёплые, как две буханки белого хлеба. Если купить такие в пекарне и приложить к груди, то станешь Агатой.

Толику захотелось есть. Он протянул ей мятые бумажки, помоги, мол, понять, что там к чему. Любовь, думал Толик, не стеснявшись этого слова по отношению к Агате, это как батарейка в тетрисе: на ней всё держится, вся система. Не будет любви, и погаснет человек, хоть выбрасывай. Толик даже не слушал, что именно Агата говорила ему своим вишнёвым голосом про коммуналку, просто смотрел на неё, и всё. Как бы подзаряжался. И стало ему так хорошо, что надолго хватит.

С утра Толик встал пораньше, чтобы приготовить себе и отцу завтрак.

Нашёл на полке с крупами коробку с овсянкой. Прочитал, как и сколько варить. Высыпал её в кастрюлю. Залил водой и включил газ. Надо ли соль? Посмотрел в интернете. Посолил как написано. Долго тормозил отца, тот не хотел вставать. Потом кое-как поднял своё тощее, покрытое седыми редкими волосами тело. Толик помог ему одеться, усадил за стол.

— Овсянка полезная, — говорил Толик мамыны слова.

Отец молчал.

Каша в итоге получилась *не такая*, склизкая и всё равно несолёная. Отец размазывал её ложкой и поглядывал на Толю. Чай тоже получился невкусный — пустой кипяток. Толик довёл отца до комнаты. Лёгкое невесомое тело отца двигалось по инерции, в руку Толика он вцепился по-птичьи. Когда-то в детстве было: парк, мужик с совой на цепи, «хочешь сфотографироваться?» спрашивала мать, и Толик хотел. Сова вцепилась ему в руку, словно он был для неё возможностью спасения, но Толик не был.

Он положил перед отцом пульт и мамин телефон с большими кнопками. В нём был встроенный тетрис, и ещё «змейка», и ещё «гонки». Но отцу было это неинтересно. И как оставлять его одного? Толик поговорил с начальством и после обеда был уже дома, в отпуске за свой счёт. Когда забежал домой,

представляя себе то одно, то другое страшное, нашёл отца на своём месте. Он смотрел в экран. Телевизор так и не включил.

По хозяйству получалось плохо: пылесос Толик включать умел, а стиральную машину нет. Боялся её, вдруг что-то не то нажмёт и затопит соседей. Попробовал стирать отцовское руками — потянул спину и ничего толком не отстирал. Толик позвонил сестре, уговорить — может, хотя бы ненадолго она приедет? А то как ухаживать за отцом и одновременно ходить на работу? А ещё скоро придётся ему ставить уколы, раньше и этим занималась мать.

— Толя, — говорила Наташка, — ну ты думай хотя бы, о чём просишь, у меня тут муж и двое детей, я их куда дену?

Толик не знал, конечно, куда деть мужа сестры и племянников тоже.

— Я вот что, могу оплатить сиделку. Если ты подберёшь хорошую женщину там у вас.

И ещё что-то говорила про долю в наследстве, как её бы ей получить не приезжая, потому что это время, а мужа и детей — Толик понимал — деть некуда. Он походил по соседкам, но они, сами старые и больные, отказывались. Знакомая матери, вероятно, всё же Татьяна, слегла с инсультом, наверно, торопилась к своим. И только Агата — дорогая его сердцу Агата — пообещала спросить у дальней родственницы из Карагая.

Толик сестру очень любил, особенно после случая.

В детстве он тянулся ко всем видам транспорта, особенно почему-то к мотоциклам. Злой сосед — тогда ещё молодой, сейчас уже старый — оставил свой красный «Урал» во дворе, у скамейки, а сам зашёл домой. Мотоцикл был крутой. Зеркала, руль, бак для бензина, мягкое кожаное сиденье. Подтянулись мальчишки. Пацан, которого Толик побаивался, громко сказал, что можно на этот мотоцикл сесть, если подняться на скамейку и с неё перебраться. Звучало так себе, потому что соседа боялись — особенно пьяного. Однажды он кидал с балкона бутылки и матерился на весь двор. Бутылки бились об асфальт и рассыпались на мелкие прозрачные зелёные стёклышки, которые Толик потом собирал, чтобы прятать «секретики».

Толик, не понимая, что он делает, запрыгнул на скамейку и перелез на мотоцикл. Животом лёг на бензобак и ухватился за неудобный руль. Попытался поставить ногу поудобнее, но тут мотоцикл качнулся и начал медленно заваливаться на бок. И грохнулся, Толику придавило ногу. Пацаны разбежались кто куда, до Толика никому дела не было. И тут из ниоткуда появилась сестра, легко подняла мотоцикл, умеючи поставила его на специальную подставку. Осмотрела Толину ободранную коленку. Сорвала подорожник, поплевала на него и приложила к коленке. И стало хорошо. Толик подумал, что сейчас бы к нему ко всему было бы неплохо приложить подорожник. Жаль, что Наташка теперь далеко. Очень жаль.

Однажды Толик решил сделать салат.

Овощи, услышал он по телевизору, должны быть постоянно в рационе взрослого человека. Купил помидоры две штуки, огурцы две штуки и зачем-то

Заир Асим

О ЖИЗНИ ПАМЯТИ

* * *

каждую ночь
выдыхаешь в темноту
ещё один
прожитый день

всё уже
недостигаемо здесь
чтобы вновь
произойти

* * *

мне нужна маленькая комната
как в юности размером с купе вагона
как номер в отеле аэропорта в амстердаме
чем меньше пространства вокруг
тем больше ясности в голове
чем больше темноты снаружи
тем больше света в сорокалетнем сердце
мне нужна эта маленькая комната
со всех сторон обложенная молчанием
как это квадратное стихотворение
как цветное поле необъяснимого Ротко
здесь мы никогда не стареем не ошибаемся
это похоже на неожиданное освобождение
когда отключают свет и связь
абсолютная дикая тишина
вот оно куда не исчезло не растворилось
в бесконечной попытке пытаться
в тавтологии форм и рекламы
вот оно есть повсюду
то что было до нас
и останется после

Заир Асим — поэт, прозаик. Родился в 1984 году в Алма-Ате (ныне Алматы). Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Волга» и др. Живёт в Алматы.

* * *

Вода сливается в яму,
Бежит туда, где легче лежать
Застойной, надёжной,
Почти добродушной.

Там позовут по имени,
Заглянут в своё отражение,
Не ведая ни страха, ни вины,
Что все близнецы.

Стой же, как время,
Вопреки неожиданному,
Пока не взлетит река
В небесное русло.

Турецкий чай в Стамбуле

Вкус турецкого чая определяется цветом и формой стекла,
Подобно маленькой скрипке,
Терпким послевкусием, пределом усталости,
Рыжим котом на диване,
Воспоминаниями о прошлом годе,
Когда большой компанией весело ели рыбу,
Всего лишь год назад,
А уже так недостижимо,
Как фотографии детства,
Как желание пережить
Что-то вновь во второй раз,
Делаешь небольшой глоток,
Чего давно не делал,
Видишь отражение себя,
Не тянешься гладить кота,
Слишком понятна его природа,
Разглядываешь фото папы из Барселоны,
Где он сидит на скамейке, совсем седой,
И держит за поводок собаку брата,
В полусне, в полубреду пишешь эти слова,
Ничего уже не ожидая от жизни,
Кроме этих неожиданных, очаровательных всплесков
Пути, незнакомых мест, родных лиц, будущих встреч,
Так хорошо, что сегодня было почти не страшно не приземлиться,
Когда самолёт на огромной скорости после тряски шёл на посадку
И вдруг взмыл вверх,
Как будто жизнь даётся заново.

* * *

я всё ещё помню крик ворон
на голых ноябрьских кронах
когда папа вёл машину
вверх по сейфуллина

воспоминания даны чтоб не помнить
просто книги на полках
интерьер прошлой тайны
лестница в небытие

этот сегодняшний дом
за городом у подножия снов
напомнил о жизни памяти
о простоте стен и вещей

воздух летел из окон
как наши имена и годы
без боли и сожалений
во всём открывал себя

Игорь Клев

Книга старости

Главы из парадоксальной повести

Сказочка о хронотопе Киева

Ещё тысячу лет назад у этого города имелись все предпосылки, чтобы сделаться великим или даже вечным. Как Константинополь достиг имперского величия, застолбив место на берегах пролива между морями и на стыке континентов, так и Киев, возникший на полдороге водного пути «из варяг в греки» и на рубеже русских земель, лесов и полей с бескрайней степью кочевых народов, не мог не заявить вскоре своё право на освоение и подчинение прилегающих территорий. По преданию его основал Кий, старший в роду племени полян, судя по занимаемому им месту в похожем на детскую считалку перечне Кий, Щек, Хорев и сестра их Лыбедь, откуда и взялось такое название города, поделённого братьями с сестрой на вотчины. Однако не исключено, что их имена просто персонификации духов местности в соответствии с первобытными анимистическими представлениями, а задним числом возникло предание, которому предшествовала сказка, что Кий был одолевшим Змея Горыныча ковалём громовержца Перуна, а не князем полян, державшим на реке лодочную переправу. Народная молва приписала ему подвиг былинного богатыря Кожемяки, который победил дракона и, выковав железную соху весом триста пудов, запряг его, как быка, и пропахал борозду для русла величезной реки до самого моря, наворотив на высоком берегу горы, а ниже по течению каменистые пороги и земляные отвалы с рвами, названные Змиёвыми Валами, для защиты будущего Киев-города от разбойных набегов конных кочевников, что сохранилось в названии Кожемяки одного из его районов. В любом случае, укреплённые славянские поселения появились некогда на господствовавших над этой местностью холмах и вдоль крохотной речушки, сбегавшей от них вниз к могучему Днепру (сочетание согласных «дн» в речи восточных славян, похоже, являлось произвольной и граничащей с восторгом их реакцией на особо серьёзную водную преграду, о чём свидетельствует топонимика: Дунай, Днестр, Днепр, Десна, Дон, Донец, Двина Западная и Северная).

В последующие столетия с принятием кириллической грамоты и христианской веры восточного обряда, с появлением летописания и началом каменного строительства

Клев Игорь Юрьевич — прозаик, эссеист, критик, переводчик, редактор. Родился в 1952 году в Херсоне (УССР). Окончил филфак Львовского университета. Работал реставратором. Публиковался в «Дружбе народов», «Знамени», «Новом мире» и других журналах. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 1.

колоколен и храмов с золочёными куполами, с созданием собственного пантеона самобытных исторических героев, святых и злодеев, над городом стал возникать и приобретать определённую мираж града на холме мира наших предков. Но произошёл сбой программы из-за незрелой грамматики молодого языка, что приводило к разрывам логической цепочки в трактовках права наследования престолов и вирусу междоусобицы, поразившей и погубившей тот русский мир. Впрочем, подобная история случалась со всеми без исключения молодыми народами.

Великокняжеский стольный город Киев в XIII веке от Р.Х. пал и был изрублен в куски несметными ордами степного царя Батые, словно поверженный былинный богатырь, после чего полтыщи лет пролежал в расчленённом виде и совершенном ничтожестве, не считая едва теплившихся в бранных останках признаков жизни в прежних очагах подвижничества, святости и учёности, разорённых ордынцами подчистую, но не выжженных дотла и тлевших веками под слоями пепла и золы. Совокупное население трёх основных частей прежнего города — уничтоженного монголами детинца великокняжеского Верхнего города, торгового Подола с речной пристанью, купеческими амбарами и ремесленными мастерскими и монастырского Печерска, с пещерами монахов и схимников и церквами, — не превышало десяти-пятнадцати тысяч вплоть до середины XVIII века. И всё же помалу люди стали возвращаться в выморочный город-призрак, словно кто-то поливал мёртвой водой останки павшего древнерусского богатыря, чтобы раны его смогли затянуться и тело срастись, согласно поверьям предков.

Дело пошло бойчее с появлением православной Киево-Могилянской академии на Подоле стараниями священства Лавры, сумевшего отстоять свою веру, права и имущество в борьбе с католиками и униатами, с возведением столетием позже на господствующей над местностью высоте бирюзовой, под цвет небес, грациозной Андреевской церкви, по распоряжению царицы Елизаветы Петровны и проекту Растрелли, а после третьего раздела Польши и в последний год правления Екатерины Великой — с переводом Контрактовой ярмарки из Дубно на Волыни на Подол в Киеве, отчего город, словно политый живой водой, стал понемногу оживать от подобного сочетания исторической памяти, святости, учёности, красоты и притока капитала.

Но, чтобы «пусто место свято» могло повторно превратиться в по-настоящему большой город, помимо монаршей воли и средств из государственной казны, требовалось приложение огромных усилий большого числа людей для появления городских улиц и каменных зданий на месте хаотичной застройки бревенчатыми срубами, деревянными домишками и глинобитными хатками под соломенной крышей, кто во что горазд, и для ликвидации директивным образом и упорядочивания стихийно образовавшейся за много столетий «нахаловки» с бесщётными сарайчиками и халабудами на склонах холмов, где местные жители выпасали скотину (отчего один из них в самом центре города так и зовётся Поскотиной по сей день), а внизу на своих подворьях откармливали свиней, разводили домашнюю птицу и занимались огородничеством, садоводством и винокурением для собственных нужд и на продажу.

Кстати, это последнее обстоятельство сделало впоследствии Киев признанной столицей самогоноварения, и в советское время в нём или сами все гнали замечательный самогон — от простых работяг по профессору и первую скрипку киевской филармонии, — или употребляли его с большой охотой. Говорилось: «Ты что же, пьёшь монопольку?! Но зачем? Гляди, вот сейчас мы разрушаем длинномолекулярные связи...» — подсыпая с этими словами и плотоядным воркованием какой-то порошок в огромную бутылку с мутноватым первачом.

Двести лет назад первым делом требовалось засыпать и выровнять Крещатый яр, что отделял бывший Верхний город от Подола ошую и Печерска одесную, чтобы связать, наконец, разрозненные части города воедино. По легенде в протекавшем

по его дну ручье великий князь Владимир крестил своих детей, которых у него было немало, после чего принялся и за остальную Русь. Но это не больше, чем красивая версия, характерная для устного народного творчества, тогда как Крещатый яр — непреложный геологический и лингвистический факт. Этот исчезнувший глубокий овраг, походивший на хребет с рёбрами какого-то ископаемого исполинского ихтиозавра, и придал направление, и дал название главной киевской улице при императоре Николае Палкине, получившем такое поносное прозвище за командно-бюрократический стиль своего правления от тогдашних вольнодумцев (словно волюнтаризм и беспредел Рюриковичей или декабристов и их идейных чад для России мог быть лучше и предпочтительней государственного мышления оболганной династии Романовых — разветвлённой фамилии, за триста лет самодержавного правления не породившей на свет ни единого мерзавца или хотя бы просто уроды).

В этом отношении показательна ботаническая война, которая велась подспудно в Киеве между тополями и каштанами. Первые пыталась насадить имперская бюрократия, чтобы тополя придавали приземистым постройкам вертикальное измерение, как в средиземноморских странах, и держали строй не хуже, чем полки регулярной армии прусского образца. А вот цивильное и преимущественно мещанское население отдавало предпочтение раскидистым каштанам, дарящим тень обитателям южного города летом и волнующим всех колыханием своих женственных юбок в пору цветения весной. Велась война на истощение, в которой верх одерживала то одна, то другая партия, и нетрудно догадаться, что начало ей было положено при Николае Первом генерал-губернатором Бибиковым, но именно с их лёгкой руки (вариант: «тяжёлой десницы») набрал Киев свой разбег. Когда к концу XIX века его население выросло десятикратно, этот город биржевиков и сахарозаводчиков претендовал уже на признание его третьим по размеру и значению городом империи в заочном негласном соревновании с портовой Одессой и немецкой Ригой. К началу Первой мировой войны в нём проживало полмиллиона человек, количество которых позднее то уменьшалось вдвое, то увеличивалось на порядок.

Скороспелость сделала этот стремительно растущий город химеричным и многоликим. Плакальщику о судьбе евреев в Российской империи и писавшему на почившем в бозе идише Шолом-Алейхему он представлялся местечком Егупец под пятой российских фараонов, тогда как автору «Печерских антиков» Лескову виделся городом живописной и богомольной киевской старины. Позже для одних он сделался родным городом Булгакова и радикальных богословов и пассажиров «философского парохода» Бердяева с Шестовым, другим виделся городом авиаконструктора Сикорского и русского «космиста» и первого президента Украинской академии наук Вернадского, кому-то ещё — малой родиной манерного певца Вертинского и матёрой израильтянки Голды Меир. «Всякому городу нрав и права, всяка имеет свой ум голова», — как писал бродячий философ и проповедник Сковорода, остриженный «под горшок» и глядящий сегодня с тысячегривенной купюры. И две маски, как в древнегреческом театре, были у этого возродившегося тысячелетнего города на подмостках истории и жизни. Одна трагическая — как в «Белой гвардии» Булгакова, а другая комическая — как в водевиле «За двумя зайцами» на гениально-уморительном суржике.

Синдром ускоренного социального роста сыграл злую шутку с Киевом в XX веке. От потрясений в череде войн и революций с переодеваниями и многократной сменой знамён, от которых съезжала крыша, киевляне не сумели оправиться (убитый здесь в оперном театре Столыпин как в воду глядел), и оттого столицей, учреждённой победителями советской Украины, на полтора десятилетия сделался более пролетарский Харьков, за которым было индустриальное будущее в стиле конструктивизма, но не было за плечами столь же богатого, колоритного и давнего прошлого, как у Киева. Беды его на этом не закончились тогда, если не усугубились на фоне впечатляющего триумфа победившей стороны и великих строек социализма, — с немилосердной

классовой борьбой, репрессиями, принудительной украинизацией, коллективизацией, голодомором, великим переломом, Бабьим Яром, деокупацией и дебандеризацией, — но восточные славяне народ упёртый, и жизнь, понеся невосполнимые потери, всё же сумела одолеть смерть.

И уже через пятнадцать лет после окончания следующей мировой войны и ещё более чудовищных связанных с ней потрясений и испытаний советская Украина и её столица Киев вступили в фазу небывалого расцвета и приступили всерьёз к осуществлению того, чего на свете никогда не существовало, но было обещано и научно доказано когда-то основоположниками великого учения построения рая на земле, сделавшись Программой XXII съезда КПСС — чтобы не по труду воздавались трудящимся и распределялись все блага, а по принципу «от каждого по способностям, каждому по потребностям», с твёрдой верой и клятвенным обещанием, что ещё «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

И правда, после восстановления взорванного в войну Крещатика немецкими военнопленными по проекту сталинских архитекторов город сделался куда краше и несравненно монументальней. С запуска в нём метрополитена в 1960 году, а Гагарина в космос в следующем, тогда же присвоения Киеву звания пятого по счёту города-героя в СССР и принятия упомянутой выше Программы, считай, четверть века, до самого Чернобыля, осуществлялся здесь и воплощался масштабный проект образцовопоказательной версии коммунизма. С «ракетами» и «кометами» на подводных крыльях, что забегали по Днепру вниз и вверх по течению (как водомерки на пруду), с оторвавшимся от земли большегрузным «Антеем» (что не должен бы уметь летать, как майский жук над лугом, «хиба шо низенько-низенько», да и стрёмно нечто такое для тёзки античного богатыря, боровшегося некогда с Гераклом, весом в сотни тонн), с реабилитированной «кибенематикой» и открывшимся для публики «ВыПерДосом», аналогом московской ВДНХ, с золотым веком киевского «Динамо», великими матчами и забитыми Лобановским с углового подкрученными голами в сетке ворот. Зелёный, ухоженный, уютный и сытый южный мегаполис для жизни в своё удовольствие двух миллионов его жителей и жителейниц, «киян» и «киянок». Цветочный Город с фруктовыми деревьями во дворах и Солнечный Город со слегка похрюкивавшей партийной номенклатурой и патлатыми «ветрогонками»-хиппи на улицах, с Незнайкой и его друзьями, которым в скором времени предстояли ещё приключения на Луне, — что это было, как не почти сбывшаяся коммунистическая утопия?! И вишенкой на торте — любимый всеми советскими людьми и коротышками «Киевский торт», единственным изыском которого являлось использование кондитерами мусорного арахиса по бросовой цене в рецепте, а не какого-нибудь волшебного ореха «кракатук», знакомого взрослым и детям по сказке о Шелкунчике и по тем короткометражкам, что демонстрировались всегда в кинотеатрах перед показом художественных фильмов: «Орешек знания твёрд, но всё же мы не привыкли отступать — нам расколоть его поможет киножурнал “Хочу (тук!) всё (тук!) знать (тресь!!!)”».

Призрак коммунизма унесло ветром на свалку истории вместе с радиоактивным облаком над первомайской демонстрацией 1986 года, словно смело незримым смертоносным жаром от дыхания Змия, что вернулся восвояси через тысячу лет после крещения Руси, чтобы отместить неразумным славянам за своё поругание и унижение. Отчего состоятельные семейные горожане принялись разбегаться из Киева с детьми во всех направлениях на всех видах транспорта. Оставшиеся же впали во вседозволенность и, невзирая на драконовские меры затеянной властями годом ранее антиалкогольной кампании, опорожнили все имевшиеся в городе запасы красного сухого вина «Оксамит Украины» и вывели из аптек подчистую препараты йода для защиты от радиации, сочтя её подходящим поводом для народного гуляния, покуда доставленные со всех концов огромной страны отчаянные смельчаки старались загнать обратно в своё логово Змия, вырвавшегося, как джинн из запечатанной

бутылки, и пытались погасить предсказанный в Библии пожар от падения звезды Полярной, сами сгорая от лучевой болезни за считанные часы пребывания у котла ядерного реактора в Припяти. Власти набрали в рот воды и молчали две недели, пока вражеские голоса всю трубили о случившемся и, как оказалось, не клеветали в данном случае, а вещали чистую правду, что и стало приговором для семидесяти с лишним лет советской власти.

На чём, собственно, закончилась история одного города и началась другая, продолжающаяся по сей день. С воздвигнутой на Майдане беломраморной трёхступенчатой колонной и статуей на ней химеричной языческой Берегини-Оранты, распростершей чёрные свои крыла над Украиной ещё при президентстве в Незалежной пана Кучмы, прославившего большим учёным бывшего ракетостроителя и «красного директора» оборонного завода. С перестрелянной, как в тире, сакральной «небесной сотней» и раздачей заграничных печенюшек на язык пастве для причащения вместо просфоры или гостии: «Этому дать, и этому, и тому тоже, а этому не дать — пошто не скакал со всеми на майданах, когда все скакали? Становись же на колени теперь и моли народ о пощаде!» И со всем остальным, что последовало затем, когда народонаселение страны сократилось вдвое, а число жителей Киева, напротив, увеличилось в полтора раза и выросло до трёх миллионов...

Галичина. Интродукция

Если выпало в империи родиться,
жить в провинции, в предгорьях, это горе...

Вокруг галицийских городов и местечек веками плескалось разливанное селянское море. Городское население в них было преимущественно польско-еврейским, точнее — польским и еврейским в той или иной пропорции. Когда еврейское население было уничтожено подчистую в годы войны, а подавляющая часть польского после войны подверглась переселению, освободившееся жильё заняли переселенцы с востока — русские, украинские, татарские, еврейские квалифицированные специалисты, но также множество галичан, хлынувших из сёл в города, общими усилиями которых начались советизация, украинизация и переустройство городской среды и культуры. Через двадцать лет западно-украинские города, местечки и сёла уже было не узнать. Жизнь галичан не перестала быть трудной и бедной, но перестала быть совсем нищенской и безнадёжной, от которой сотни тысяч отчаявшихся селян за полвека эмигрировали в Новый Свет, чтоб не отправиться до срока на тот свет от непосильного труда, безработицы и голода. Для них неожиданно открылись новые возможности, когда в результате целой серии катастроф и трагедий пали сословные, этнические и экономические стены городов. Сначала это была щёлка, через которую веками униженное и обездоленное крестьянство проникало в них в поисках работы. Новая власть остро нуждалась в рабочей силе, а крестьянство благодаря этому находило возможность освободиться от нового закабаления и бесправия в тисках полукрепостнического колхозного строя. Советские колхозники после денежной реформы 1961 года зарабатывали полрубля за трудодень на полях и фермах и выживали только благодаря подсобным хозяйствам. А в городах были деньги и зарплаты и, получив на руки паспорт, можно было в них найти работу — разнорабочими на стройках или домработницами и няньками за пару десятков рублей в месяц, не считая бесплатного проживания и пропитания, — если повезёт, устроиться на фабрику с общежитием для рабочих, поступить в ремесленное училище, техникум или даже институт, а через двадцать лет непрерывного трудового стажа и продвижения в списке очередников и льготников получить вожеленную городскую государственную квартиру

Дружба на вырост

Наталья Салтанова

Два рассказа

Клён

Машины подъезжали волнами. Город, пульсируя светофорами, порционно поставлял покупателей. В паузах становилось сонно и тихо.

В тени остановки торговали тем, что выросло в садах. Возле двух пластиковых вёдер с яблоками сидел на корточках худой мужчина в рваных трениках и футболке. Лицо скрывал козырёк потрёпанной бейсболки, а седые волосы, собранные в хвост, лежали на спине серой паклей. Здесь его звали Клён. Подъехала тонированная большая машина, из неё мячиком выскочил крепкий парень в спортивном костюме, схватил Клёна двумя руками за шкирку и как мешок с картошкой закинул на заднее сиденье, прыгнул следом, и джип уехал.

Подросток, сосед Клёна по рынку, написал прутот в дорожной пыли номер машины. Бабка мальчика шаркнула ногой, стирая цифры, и придвинула к себе вёдра Клёна. Пришла новая волна покупателей — рынок разом загалдел.

Внутри джипа Клён низко наклонил голову и обхватил её руками, кто-то тронул его за плечо. С переднего сиденья ему улыбался крепенький сорокалетний мужичок в яркой рубашке.

— Я — Санёк.

Машина въехала во двор особняка. Санёк повёл Клёна к дому, горделиво показывая, где у него стоит беседка, где — баня и бассейн.

На веранде стоял празднично сервированный стол. Жена хозяина — Люба, пухленькая блондинка — подняла высоко брови и сдёрнула со стула белую подушку. Застёжка-липучка, на которой подушка крепилась, противно затрещала.

Салтанова Наталья Матвеевна родилась в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета, курсы сценаристов ВГИК. Участник мастерских АСПИР. Автор книг для детей «Старик и Шарль», «Новогодняя история». Рассказы печатались в журнале «Урал» и коллективных сборниках. Пьесы для детей и взрослых ставятся в профессиональных и любительских театрах России. Преподаёт в Уральском федеральном государственном университете. Живёт в Екатеринбурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 11.

Клён снял бейсболку, высокий лоб с залысинами у него оказался белым, незагорелым, а ниже бровей лицо было тёмное от солнца, в глубоких морщинах.

— Ну, Клён, у тебя и ватерлиния! — засмеялся Санёк.

После обеда Клёна отправили в ванную. Он вымылся быстро, а потом рассматривал свою новую одежду. Долго мял в руках белоснежные трикотажные трусы, на резинке которых было вышито итальянское имя. Клёна побрили, постригли, волосы уложили феном, теперь на его голове красовалась седая ухоженная грива. И «ватерлиния» не так бросалась в глаза.

— Порода! — Санёк показал большой палец.

Он привёл Клёна в комнату и стал демонстрировать качество кровати, надавливая ладонями на матрас, словно делал искусственное дыхание.

Но Клён смотрел на стены, они были увешаны фотографиями в добротных деревянных рамках. Можно было проследить, как рос Санёк, как служил на флоте. Было много фотографий неулыбчивой женщины — матери Санька. Только на одном фото она улыбалась — юная и в брюках-клёш.

Клён рассматривал этот снимок внимательно. Подошёл Санёк:

— Завтра к ней на могилку съездим.

В комнату заглянул мальчик лет десяти.

— Сашка, именинник мой. — Санёк обнял его и, кивнув в сторону Клёна, сказал: — А это дед Саня!

Клён пожал ладошку Сашки.

— Ну, пошлите уже, — скомандовал Санёк. — Гости заждались. А тебя, Сашка, — твои подарки.

Во дворе Санёк зазвонил в рынду, собирая всех, затем жестом фокусника сдёрнул покрывало с непонятного сооружения, стоящего в беседке. Небольшая барабанная установка, электрогитара, электрическое пиано и микрофон сверкали праздником.

Санёк подошёл к микрофону:

— Дамы и господа, сейчас прозвучит любимая песня моей мамы.

Он негромко запел: «Там, где клён шумит...» Сашка сел к барабанной установке. Люба была у пианино. Все посмотрели на Клёна. Он вышел, снял электрогитару с подставки, покрутил колки и улыбнулся грифу.

Со строчки «говорили мы о любви с тобой» песня зазвучала.

Потом Клён играл Yesterday, Цоя, «Машину времени». Гости хором подпевали и топтались на «медляках», Люба танцевала по очереди то с сыном, то с мужем.

Гости стали разъезжаться, каждый попрощался с Клёном, а он в ответ только кивал седой головой. Ночью Клён дождался тишины; не включая свет, натянул футболку и старые штаны, сквозь мелкие дырки итальянские трусы мигали белизной.

В темноте фотографии на стенах казались узором обоев, когда он вышел из комнаты.

Клён бежал вдоль забора, как вдруг появился Санёк и побежал рядом.

— А я про тебя случайно узнал, — заговорил он, словно продолжая прерванный разговор. — Мама умерла, нашёл её дневник. Девичий,

как дембельский. Песни, аккорды, фотки твои наклеены. Фанатка была. Цветными карандашами писала, что в честь тебя сына назовёт.

Клён остановился, тяжело дыша, хватаясь за живот.

— Я проверил, ну не мог я быть твоим сыном, у тебя ходка за валюту как раз была, — говорил Санёк.

Клён резко наклонился, его вырвало. Санёк стоял рядом:

— А я-то уже привык думать, что ты мой отец.

Клён сделал несколько шагов вперёд, опять застонал и упал, тень забора его тут же проглотила.

Санёк поднял Клёна и понёс, держа перед собой, как ребёнка:

— Потом решил, раз мать моя так тебя любила, то какая разница.

Санёк шёл быстро, дыхание его сбилось:

— Зато у Сашки моего теперь есть дед. Есть что вспомнить. Естудей вместе пели.

Клён молчал. Санёк остановился, поправил свою ношу:

— Не привык ты к такой еде, вот и скрутило.

Во дворе Санёк устало сел на скамейку, поднял голову Клёна. Свет фонаря упал на лицо, оно было бледным, «ватерлиния» исчезла.

— Люба!— заорал Санёк. — «Скорую»! Бате плохо!

Етишкин богомыш

Лето. Море. Пансионат. Мне — одиннадцать, сестре Лене — шесть. В этот раз мы отдыхали с папой, у мамы — дела на работе.

Папа недавно стал вегетарианцем. На эту новость наша бабушка только и сказала: «Етишкин богомыш». Теперь папа ел салаты в столовой, а на берегу моря — чурчелу. По утрам он встречал солнце и делал асаны. И нас будил, чтобы мы с ним шли на пляж «заряжаться энергией Вселенной». В ответ я говорила заклинание, которое работало: «Свобода выбора!» А Лена, захватив плед, шла и досматривала сны на лежаке.

Ещё у нас появилась новая фамилия, благодаря нашей соседке по этажу. Кругленькая, важно вышагивающая, похожая на голубя, она водила на поводке кривоногую лупоглазую собачку. «Чьи вы?» — наклонив по-птичьи голову набок, спросила она. Мы с сестрой хором ответили: «Папины». Вскоре за нашими спинами мы услышали: «Эти девочки — Нина и Лена Папины».

Ещё был «ничейный мальчик» — загорелый подросток. В него любопытная соседка тоже ткнула пальцем-коготком, он набегу прокричал ей: «Ничей». Действительно, никто не знал его родителей, в каком номере он жил.

Ленка влюбилась в «ничейного». Он подмигнул ей однажды. И всё! Получил фанатку. Она бегала за ним повсюду. Вечером, обняв меня за шею, тараторила: какой он загадочный, не иначе как «сын принца неизведанной страны».

В одно моё ухо папа говорил, как здорово есть здоровую пищу, в другое — сестра трещала о том, как «сын принца» здорово играет в настольный теннис и плавает. Порой мне хотелось попрыгать сначала на одной ноге, потом на другой, чтобы вытряхнуть, как воду из ушей, их бесконечные «здорово».

Но тут в пансионат заселился полным составом симфонический оркестр. С инструментами. Скрипки, альты, виолончели. Контрабасы, флейты, гобои, кларнеты. Фаготы, валторны, трубы, тромбоны и тубы. Кроме того — кастаньеты, трещотки, маракасы, тамтам и барабаны — большой и малый. Также — литавры, тарелки, треугольник, ксилофон, виброфон, колокольчик. Фортепиано и арфа. Все звучали разом с раннего утра до позднего вечера. Для меня наступил етишкин богомыш.

Оставаться в одиночестве и тишине, хотя бы ненадолго и изредка, мне физически необходимо, иначе внутри меня — что-то важное и сияющее — начинает угасать. Вот бабушка меня понимала. Когда я гостила у неё, то часто уходила в дальний угол сада, а она говорила вслед: «Сходи-сходи сама с собою».

Теперь по утрам я шла не к морю вниз по лестнице «встречать солнце» с папой и Леной, а брела в парк, вверх по горе. Там, забравшись на сосну, благоухающую смолой, постелив на толстую ветку туристический коврик, я сидела сама с собою. Слушала просыпающихся птиц и наблюдала, как меняется от восходящего солнца всё вокруг. Ещё на сосне я мечтала: вот бы папа увёл всех музыкантов оркестра на берег моря. И они в чёрных фраках и вечерних платьях делали бы асаны. Молча.

Кто-то близко крикнул «Тимур!», и я посмотрела вниз. Тайна «сына принца неизведанной страны» была раскрыта. «Ничейный мальчик» мёл дорожку, и его окликнул отец, дядя Серёжа, завхоз пансионата. Они меня тоже увидели и приветливо помахали. Я раскрыла книгу «Золотой телёнок» и спряталась за обложкой.

— Хорошая книга!

Тимур легко, будто сам ничего не весил, подтянулся на ветке, сел рядом. Мальчик, который читал Ильфа и Петрова? Я выглянула из-за книги.

— Здорово они там всех победили. Правда? — продолжил «сын принца неизведанной страны».

— Не знаю, я ещё не дочитала.

— Пойдёшь сегодня на концерт? — улыбнулся как ни в чём не бывало Тимур.

— Да, с Леной.

— Она такая смешная.

— Она — не смешная, — сухо ответила я.

Никто и никогда не смеет называть мою сестру смешной, кроме меня.

— Тогда смешная — ты!

Он спрыгнул с дерева и дёрнул коврик, на котором я сидела. Книга — в одну сторону, а я полетела в другую.

Тимур как-то сумел меня поймать в воздухе, и теперь я, перегнувшись, висела у него на плече. Живот ныл, словно в него попал волейбольный мяч, попка торчала вверх, голова болталась на уровне поясницы «сына принца».

Тут впервые в жизни у меня рассоединились тело, мозг и душа. Душе было спокойно и весело, как в детской игре «чик-чик — я в домике». Тело моё знало, что подростку, на плече которого оно висело длинным полотенцем, я давно нравлюсь. Ещё телу было приятно, особенно моей груди, чувствовать через ткань футболок спину Тимура. А мой мозг в эти же самые мгновения успел рассмотреть иголки сосны и решил, что они — маленькие шпаги.

Когда я стала очень медленно, или мне так показалось, сползать вдоль Тимура на землю, то увидела совсем близко его ухо. Крепкое, загорелое и красивое. Смотреть — не насмотреться. Говорила в таких случаях бабушка.

Как только мои ноги встали на землю, всё во мне разом соединилось: мозг-тело-душа. Я оттолкнула Тимура, отскочила сама и завопила:

— Ты — псих ненормальный?

Тимур стоял столбом, уши у него были тёмно-малиновые.

Я побежала к морю, к сестре и папе. Но увидев сверху, как плотно и быстро, словно в тетрисе, пляж заполняется людьми, повернула к пансионату, уже звучащему на все лады инструментами симфонического оркестра.

Возле наших дверей лежали книга и коврик. Фыркнув на них, словно они в чём-то виноваты, я втащила их в комнату и рухнула на кровать. Я лежала и думала, что же мне делать со своим телом, которому так хорошо рядом с Тимуром.

Ленка ещё дня два жужжала мне о «ничейном мальчике», и что на концерте он сел совсем-совсем рядом с ней. Потом она перевлюбилась в дирижёра.

Завхоз дядя Серёжа стал гулять под ручку с пухленькой соседкой и водить на поводке её мопса. А соседка перестала спрашивать «чей?» каждого ребёнка.

Папа всё-таки увёл симфонический оркестр на пирс, и они сыграли восходящему солнцу «Оду к радости» Бетховена.

Вышла статья в местной газете, где было одно предложение и о нашем папе. «Энтузиаст Папин сумел убедить всех, что самое прекрасное на свете — это звучащая во время восхода солнца классическая музыка». Папа смеялся, обмахивался газетой и говорил, что теперь для собственной славы ему надо сменить фамилию.

Наконец приехала мама. Мы вечером пошли в ресторан, папа вместе с нами ел шашлык. Из кабачка и сладкого перца. В ресторане все вокруг смотрели только на мою, в красном платье, белокурую маму. Музыканты по очереди играли романсы в её честь, особенно старался дирижёр, мама мелодично смеялась, а папа улыбался всё шире и шире.

Несмотря на южную ночь, между балясинами веранды я разглядела лицо Тимура. Когда Лена начала есть мороженое, я незаметно спустилась вниз и в темноте сразу уткнулась носом в его плечо.

— Что уставился?

— Ты когда уезжаешь? — моего вопроса он не заметил.

— Через неделю.

— А я завтра! — Он словно хвастался. — Обратно, к маме.

«Етишкин богомышь!» — чуть не закричала я.

Тимур взял мою руку, положил туда что-то завёрнутое в бумагу и сжал мои пальцы. Потом мягко притянул к себе и обнял. Слова его звучали уверенно и громко, словно он шептал не в моё ухо, а сразу говорил в мой мозг, для долгой памяти.

— Вырасту — найду тебя.

Недавно мы с сестрой вспоминали то лето. Музыкантов, которые репетировали в каждом закоулке пансионата. Папу на восходе солнца у моря и нашу незагорелую, белую, как сметана, маму. Лена даже соседку с мопсом вспомнила. А вот «ничейного мальчика» — нет.

Зато я, когда видела сосну пинии, всегда вспоминала Тимура. Шишку сосны, завернув в листок школьной тетради, он вложил мне тогда в руку.

За эти годы наше государство изменило свои очертания, возникали и затихали известные и неизвестные войны, появились социальные сети.

«Сын принца неизведанной страны» искал меня всюду. Я в этом уверена.

Он искал меня под фамилией — Папина.

Багдат Тумалаев

В тени бога

Миниатюры

Отвёртка надо?

Махачкалинский рынок на проспекте Ирчи Казака — это бесконечные ряды ржавых сырых контейнеров. В них с утра до вечера сидят бедолаги и продают всякий хлам.

— Отвёртка надо?!

Рынку этому около тридцати лет. Иногда я гуляю по нему, и это меня успокаивает.

— Эй, брат, купи!

В потоке людей не чувствуешь одиночества. Иногда встречаются странные люди.

— Отвёртка надо?

Это кричит один из бродячих торговцев. Он явно сумасшедший. С утра до вечера ходит по Ирчи и орёт: «Отвёртка надо?» Никто не обращает на него внимания. А он знай размахивает своими отвёртками. Продал ли он в жизни хоть одну? Но без его звонкого крика, кажется, и рынка этого быть не может. А может, он — шпион иностранных спецслужб или какой-то инопланетной цивилизации? Или же закладчик, маскирующийся таким экстравагантным способом? Руки чешутся позвонить и сообщить про этого типа, чтоб его проверили. Да у него всё схвачено, наверное, есть договорённость с участковым. Зачем годами бродить по рынку? С гораздо большим успехом он мог бы идти по прямой — уже обогнул бы земной шар.

А вдруг этот человек просто понял смысл жизни? Дзен постиг. Открыл счастье в себе. Бродит по рынку целый день и кайфует от этого. Свежий воздух, некое подобие работы. Это ли не счастье? Может, мне тоже стать таким? Бродить по рынку и продавать что-то случайное, например, зажигалки или пинцеты?

— Пинцет надо? Надо пинцет?

Тумалаев Багдат Низамутдинович — прозаик. Родился в Махачкале в 1982 году. Учился в Дагестанском государственном университете. Участник Пятигорской и Дербентской резиденций АСПИР. Печатался в журналах «Дагестан», «Дарьял» и различных сборниках молодой прозы Северного Кавказа. Работает научным сотрудником в Национальном музее Республики Дагестан. Живёт в Махачкале.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Человек пропал

Он жил неподалёку от меня. Мужчина лет сорока пяти.

Несколько лет я водил к нему путешественников. Он их размещал на ночлег у себя. Добродушный открытый человек. У него было приятно. Но странно, что он всегда был дома.

Я не задавал ему никаких вопросов, он ничего не рассказывал.

Пару раз заходил ко мне в гости.

Говорили, пили чай. Меня поражало, как сильно мы с ним похожи во вкусах и пристрастиях.

А потом он исчез. Телефон не отвечал.

Я написал ему сообщение. Без ответа. Пошёл к нему домой. Звонил и стучал, но никто не открыл. На стук вышел сосед и сказал: «Он исчез».

— Как исчез?

— Просто исчез. Насовсем.

Мне стало очень странно — показалось, что я тоже исчез.

— Как жаль, — сказал я, растерянно разводя в пустоте руками.

Беременные

Это было давно, я был юн и несчастен. В юности всегда все несчастны.

В жаркий июльский полдень стоял на Калинина, у канала, и не знал, что мне делать.

Вдруг появилась беременная женщина. Прошла мимо. Потом вторая. Потом ещё одна, и ещё. Десятки беременных женщин.

Бесконечный поток. У меня даже закружилась голова. Присел на бордюр.

Или это июльская жара так на меня подействовала, не знаю.

Подумал, что это — знак. Битый час здесь — и одни беременные. А может, это чудо — намёк Бога, чтобы я, наконец, понял что-то? Я стал как будто просыпаться.

С трудом нашёл в себе силы подняться и зайти в маленький парк, что неподалёку. Появилась какая-то женщина вдали. Я с волнением ждал её приближения — не беременная ли? Наконец-то — не беременная! И я словно бы вышел из-под тени Бога.

И мужик прошёл мимо — первый мужчина за целую вечность.

Казалось, что-то незримое решилось — и меня отпустило, — стало вдруг легко и ясно.

Потом я забыл про этот случай. А недавно ехал на маршрутке и узнал это самое место. «Остановка “Женская консультация”», — крикнул водила и подмигнул мне.

Алёна Тимофеева

Театральные перекрёстки Алматы

Когда-то мы были городом-садом. Байки про то, что одно яблоко алматинского апорта было величиной с два мужских кулака, передаются из поколения в поколение, хотя уже далеко не каждый алматинец знает этот терпкий запах теплой розовой кожуры. Сейчас на карте Алматы больших зеленых пятен всего несколько. Парк имени Первого Президента, Ботанический сад, скверики возле Старой и Новой площадей, но самый любимый, конечно, — парк Горького. В детстве арка на его входе была краем географии, за ней реальный город как будто заканчивался и начинался праздник. Бог весть сколько детей обманывались так же за последние 170 лет — ведь парк всего на несколько лет младше самого города.

Улица Гоголя начинается от входа в парк и кажется бесконечной. Стоит пройти по ней минут десять — и снова окажешься в зелени. Парк 28-и гвардейцев-панфиловцев напоминает то самое сказочное перепутье. Налево пойдешь — окажешься в кафедральном соборе, построенном еще при царе и позже так смачно описанном Домбровским. Направо пойдешь — упрешься в грандиозный монумент тем самым гвардейцам. Прямо пойдешь — голову потеряешь: «Театр культурного шока» — красуется большая желтая вывеска перед входом в здание. Это раньше «АРТиШОК» был подвальным авангардным театром, первым из независимых и независимым из первых. Сейчас же это огромное двухэтажное здание с просторным фойе. Когда меня как театрального обозревателя спрашивают, куда обязательно сходить в городе, чтобы лучше с ним познакомиться, всех посылаю туда.

И здесь вовсе ни при чем мои личные симпатии или долгий почти закулисный роман. Это самое алматинское место: театр со своей кофейней посреди парка. Алматинцы — жуткие любители кофе и прогулок. Театра, к счастью, тоже. В «АРТиШОКе» никогда не знаешь, кого встретишь: коллегу с сыном, институтского профессора по политэкономии или бабушкину соседку с третьего этажа. Вероятно, что всех сразу. Причиной тому и репертуар, и наличие двух сцен. И если большую в самом сердце сквера не заметить сложно, то в поисках малой придется побродить.

Алёна Тимофеева — прозаик, публицист, театральный обозреватель, публикуется в различных казахстанских СМИ. Родилась и живёт в Алматы. Участница Международной писательской программы при Университете Айовы и семинара литературных переводчиков в рамках Almaty Writing Residency. Участница Форума молодых писателей России, Казахстана и Кыргызстана (2021). Главный редактор блога о казахстанской литературе The Alma Review. Печаталась в журналах «Дактиль», «Формаслов» и других.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Алматинский Арбат уже давно облюбовали подростки. Здесь бурно цветет культура косплея, так что нечего удивляться, если во время променада тебя собьет эльф или панда на самокате. Не протолкнуться тут вне зависимости от времени суток. И оттого еще более странно, что один из знаковых театральных подвалов находится не посреди бульвара, а глубоко во дворах. Арбат, он же улица Жибек Жолы (то есть Шёлковый путь, который по преданиям в этом самом месте и проходил), упирается в торговый дом «Пассаж». Кажется, когда исчезнет барахолка, не станет и самого Алматы: иначе объяснить, почему этот формат торговли до сих пор не вымер, невозможно. Однако это первый звоночек, что совсем рядом Зелёный базар — главная торговая точка в городе, где от запахов и красок крутом идет голова. Уйти голодным невозможно — как в физическом, так и в духовном смысле.

В этом районе концентрация театров бьет рекорды. Тут и кочевая «Трансформа» с огромным багажом гостевых и гастрольных постановок; и Interius — коллектив, лучше всего чувствующий свою целевую аудиторию: женщины возраста с пометкой «плюс». Чуть дальше — два островка детства: казахский ТЮЗ имени Мусрепова и государственный театр кукол, оба то и дело выстреливают добротными взрослыми постановками. Поэтому, если и направляться на поиски типичной алматинской семьи, то именно в эту часть города. Хотя что в ней уж такого типичного? Едва ли она отличается от любой другой семьи на постсоветском пространстве. Разве что вопрошающему по-казахски ребенку родители с абсолютной естественностью отвечают по-русски, стоя на пересечении улиц Пушкина и Макатаева.

Пожалуй, лучшее, что придумали градостроители Верного — впоследствии Алма-Аты, — это проложить улицы в шахматном порядке. Так в принципе легче ориентироваться, а в нашем случае еще и разбить город на условные театральные ячейки. Все их алматинские адреса идут по перекрещивающимся улицам Абая — Жарокова и Достык — Райымбек-батыра (хотя для многих последние все еще Ленина и Ташкентская). Эти четыре улицы, идущие в разные концы города, пересекаясь, образуют довольно большой прямоугольник, в площадь которого вписывается основная масса театров. Есть, конечно, досадные исключения вроде талантливой и самобытной немецкого театра, который из самого сердца города выселили почти в пригород. Если спросить опоздавшего алматинца, где его черти носили все то время, что вы его прождали, наверняка ответит: ехал с первой Алматы. Алматы-1 и Алматы-2 — два вокзала, и если второй еще сравнительно недалеко от центра, то первый прилично удален. Если же спросить у очень культурного алматинца про тех же чертей, скажет: ехал из немецкого театра. Даром, что ли, по расстоянию он как раз между вокзалами.

Есть и удивительные артефакты на другом конце города — вроде ТЮЗа имени Сац, обитающего в старом дворце культуры, раньше принадлежавшем Алма-атинскому хлопчатобумажному комбинату. Удивительный, потому что на фасаде детского театра висит табличка: «Осторожно, падает облицовка». Висит она там, кажется, еще со времен моего детства — хоть что-то в этом городе остается неизменным.

Но вернемся в центр. Если задаться целью и запастись таблетками от давления, пройти его можно за день. Алматинцы неубиваемы: нас не берут ни закопченный воздух, ни плавающая асфальт летняя жара. Перепады давления нам тоже не страшны — мы вольный, хоть и ленивый горный народ. Приезжие здесь вычисляются сразу — даже не по анекдотичным уже «тэнге» вместо «тенге», а по осололевшим глазам: попробуй без подготовки погулять почти по километру над уровнем моря! Еще эти смешные люди называют наше главное место обитания «верандами» и «террасами», хотя всем известно, что они — летники.

На летниках здесь не сидят только зимой. Стоит чуть проклюнуться мартовскому солнцу — и первые отважные носы высовываются ему навстречу из клетчатых пледов. И так до последних дней ноября, пока посиневшие от холода официанты попросту не перестают обслуживать сидящих снаружи.

Самые пафосные летники со всех сторон окружают оперный театр. Раньше он носил почти непронизимую аббревиатуру ГАТОБа, сейчас превратившуюся в еще менее выговариваемую КазНТОБ. Позолоченные барельефы из-под крыши театра с укором смотрят на то, как барышни в модных платьях проплывают мимо распахнутых дверей театра. Их манят инстаграмные фото еды и шикарные коктейли. Какой уж тут балет, когда рядом и историческая «Карлыгаш», и осовремененная «Театралка», и модные — и неоправданно дорогие — заведения. Жизнь в них начинается с приходом сумерек, когда фонтаны перед театром словно разбрызгивают неоновую подсветку. Это — сердце алматинского «Золотого квадрата», самого престижного и дорогого района города. КазНТОБ возвышается эдаким пантеоном, отсекающим «иноверцев»: они сразу сворачивают на тянущуюся от театра пешеходную улицу Панфилова, предпочитая оперным дивам поющих под цоеву гитару фриковатых подростков.

Но Панфилова рано или поздно упрется в Арбат, так что мы свернем в противоположную сторону. Когда за границей, по привычке, говоришь «пойдем вверх», ловишь непонимающие взгляды местных. У нас же все, что вверх, — то в сторону гор. Наклон улиц замечен невооруженным глазом, не говоря уже о напряжении в коленях. Город словно катится вниз от шпиля телевышки Кок-Тобе и вечно стремящихся вперед каменных конькобежцев на катке Медео. И вместе с уклоном меняется настроение.

Короткий скверовый перешеек между КазНТОБом и русским драмтеатром — будто переход в другую страту. Тут театр Лермонтова вместо кафешек окружают библиотека и несколько университетов. Контингент здесь тоже свой, наработанный десятилетиями. Солидные женщины в цветастых кофтах с пайетками и их скучающие спутники. Когда проходишь по аллее Куляш Байсеитовой мимо театра, так и тянет приосаниться, остепениться, что ли. Еще и Михаил Юрьевич бордовым барельефом хитро поглядывает сквозь еловые ветки на памятник отцовскому тезке — актеру Померанцеву. Бронзовый ЮрБор, как его ласково называли коллеги, сторожит здесь тишину и как будто консервирует время.

Само старое название города — Алма-Ата — словно говорит, что у нас всего по два. Тех же театров: два ТЮЗа — казахский и русский; два кукольных — государственный театр кукол и независимый Тотальный театр; даже оперных два — старый КазНТОБ и новый Almaty Theater. В последнем чуждо все: и западное название, и расположение на вечно стоящей в деловой пробке Аль-Фараби, и помпезная архитектурная форма, напоминающая свадебный торт. Он венчает череду сказочно дорогих ресторанов и бутиков, маяча белоснежной униформой капельдинеров, как бельмо на алматинском глазу. Но ему всего несколько лет — глядишь, и приживется. А проверенных временем драмтеатров, конечно, тоже два, так что от Лермонтовки мы устремляемся ко второму прямо по Абая, одному из самых длинных и широких проспектов в городе.

Не заметить казахский драматический театр имени Ауэзова почти невозможно: это большая бетонная коробка, возвышающаяся на пустой площади. Прямо перед входом сидит виновник названия — скучающий Мухтар Ауэзов. Выросшие в 90-х ласково прозвали памятник Prodigy¹: уж больно прическа литературного классика

¹ The Prodigy (англ. «чудо», «дарование») — британский музыкальный коллектив, возникший в 1990 году и ориентированный на электронную музыку. Упомянутый далее Кит Флинт — британский музыкант, участник группы The Prodigy с момента её основания и до конца жизни (2019).

сбоку напоминает рожки Кита Флинта. И ох уж эта тоска в глазах, с которой он, подперев голову рукой, смотрит на раскинувшийся напротив комплекс цирка и парка аттракционов. Сейчас бы рвануть на американские горки, а тут опять толпа пенсионеров... Публика здесь памятнику под стать. Молодежь в этих краях либо сопровождает тяжело поднимающихся по ступенькам аташек и апашек (так здесь ласково кличут дедушек и бабушек), либо просто перепутала выходы из метро. Хотя, конечно, тема стариков и общественного транспорта — это одна из характерных черт Алматы. Здесь невозможно представить, чтобы не уступили место или не донесли сумки. Причем отнюдь не показушно: это генетический код, уходящий корнями глубоко в века и в землю.

А она здесь настолько благодатная, что даже бомбоубежище начинает цвести. Если смотреть по карте, то находящийся неподалеку «Бункер» — самое сердце Алматы. Лежащий у подножья скученных хрущевок возле Никольской церкви, он просто обязан внести в эту историческую идиллию немного хаоса. Сюда не приходят за высоким искусством. Здесь въевшийся в стены и бронированные двери тяжелый запах сырости. Выступают полулюбительские коллективы, тусуется молодежь. Это андерграунд в своем классическом словарном толковании. Возможно, это единственный в мире театр в бомбоубежище. Это не делает его более безопасным: по ночам в тех дворах все равно страшно ходить. Акимат — наша мэрия — никак не решит проблему с освещением, а знаменитые алматинские деревья так и норовят за густыми ветками спрятать что-нибудь жуткое.

Но стоит пройти под этими же ветками днем — и упрешься либо в Уйгурский, либо в Корейский республиканский театр. Оба живут своей жизнью, но принадлежность к диаспоре диктует правила. В этом смысле Алматы похож на большое лоскутное одеяло: не столько из-за своей шахматной топографической логичности, сколько из-за пестроты и космополитизма. Ландшафт тут меняется каждый квартал, а вместе с ним — цена на кофе и одежда тех, кто его пьет. И тот, кто в это одеяло укутывается впервые, небыстро, но постепенно перенимает наши привычки.

Это стало особенно заметно в последние несколько лет, когда на театральной карте города появились «2act» и «Керемет» — проекты, запущенные релокантами, но уже ставшие полноправными культурными объектами города. И местный зритель потянулся к ним, привнося свои обычаи. Ведь в Алматы смиренно выстоять километровую пробку и опоздать на спектакль на полчаса потому, что негде было припарковать машину, — нормально. А забегаая в зал, глянуть на потолок: шансы, что тряхнет так сильно, что с него посыплется штукатурка, очень малы, но жизнь в сейсмозоне рождает свои подходы. У нас нет тревожных чемоданчиков: всю тревогу мы носим с собой, чтобы в случае чего быстро превратить ее в бескорыстную заботу о ближнем.

Здесь можно в самом красивом из платьев рвануть домой на самокате, по пути со скидкой купив ящик терпких абрикосов — из того, что за день не разобрали. Главное — прочно его установить, ведь на дороге обязательно подрежут: эти областные, блин, ездить не умеют! Ведь даже ночью этот город не спит: все время едет, стремится куда-то, перемигиваясь неоновыми лампами вывесок. Да и пусть, ведь он совсем молодой — столько зеленых светофоров и красных яблок еще впереди.

Нина Орлова-Маркграф

На всхожем солнце

Этнографическая повесть. Избранные главы

Мои чалдоны, или «Азм есмь...»

Я родилась на Алтае, у реки Кулунды. Река течёт по Кулундинской степи меж лентами сосновых боров. Лето коротко. Июль жаркий, полон солнцем, а август уже умывается предосенним дождиком.

Зимой занесёт нас большими снегами, великой снежной стеной наглухо отделит от всего мира. До сих пор снится мне сон. Уютная умиротворённая тишина в комнате. Метель перестала выть, трясти рамы, сквозить во все щели. За окном сугробы слились в один белый горный хребет. «Надо идти мать окапывать», — говорит отец. Мы идём во двор, отец вытаскивает из пригона лопату. Идём вдоль реки, которая с берегами укрыта снегом, к избе бабушки. А была ли изба? Стоит некий снежный стог. Отец начинает рыть в снегу ход к предполагаемой двери, откапывает, откапывает, вот уже просвечивает дощатое полотно двери, обмёрзшая щеколда на ней. «Открывай!» — кричит отец. Сейчас приоткроется дверь, и из неё покажется баба Маруся, я так по ней соскучилась. Но нет, каждый раз на этом сон смешивается в чёрно-белый дым и обрывается.

«В нашей деревне всякой твари по паре», — шутили мои родители. Так оно было по всей Сибири. Издавна и долгое время населялась она пришлым, беглым или насильно переселённым людом из разных мест российского государства. Тут и поморы, и новгородцы, витебские, воронежские, вятские люди, рязанцы и москали. Конечно, казаки всех мастей, раскольники, староверы, кержаки, мордва. В начале двадцатого века привалило много народу из Центральной России, их сибиряки так и прозвали — «расейские», селились они рядышком друг с другом. Во многих деревнях и посёлках у нас была своя «Расея», околоток из двух-трёх улиц. А в Великую Отечественную Алтай, да и вся Сибирь, пополнилась ещё одной этнической группой. Сюда переселили полмиллиона русских немцев из Поволжья. Сибирь приросла и этим народом. Но об этом чуть позже.

Орлова-Маркграф Нина Густавовна — писатель, поэт, переводчик. Автор сборников стихов «Царь-сердце» (1991), «Утешение» (2007), «Птицы-летицы» (2016), «Жили-былный период» (2023), рассказов и повестей «Простить Феликса» (2021), «Заступница» (2022) и других книг.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 8.

У нас проживали и аборигены, представители коренных сибирских народов: зыряне, остяки и другие. Некоторые мои односельчане относили к ним по неведению и чалдонов. На самом же деле чалдоны что ни на есть русские люди. Они пришли сюда небольшой группой из Древней Руси ещё до монгольского нашествия. Тогда в этом краю слухом не слыхивали о русских. Поразительно: чалдоны, на протяжении многих веков живя среди аборигенов, людей иных рас, в большинстве сохранили славянскую внешность и свой уклад жизни. Смешение чалдонов с коренными народами происходило, но не так интенсивно.

Маленькой я дружила с семьёй чалдонов по фамилии Тоушевы, во главе с дедом, звали его Путята Горевич. Подозреваю, что Горевич — это видоизменённое Игоревич. Все Тоушевы: старший сын Путяты Горевича Сила, его жена и младшие дети — Василька, Володюшка, Ярик, Манечка и Ольга были светлокжими, голубоглазыми, с чисто славянскими чертами лица. Сам же Путята немного плосколиц, узкоглаз по-степному, дублёная солнцем и каляными ветрами кожа была с желтизной, как у китайца. Роста был выше среднего, телом сух и крепок. Говорили, что в молодости он не был таким «татаром», но к старости аборигенская кровь проступила заметно.

Собравшись у колхозной конторы, мужики, бывало, подшучивали над Путятой, обзывая его «татаром». Намёк на нерусское происхождение волновал Путяту. Он сердился, лицо собиралось в морщинистый жёлтый комок, как мятая карта. Дед гневно тряс на мужиков сухим жёлтым кулаком и кричал:

— Мы коренные русские сибиряки, мы от Древней Руси, это вы монголами четырёхста лет ё....е!

— Было дело, — без обиды отвечал заводила компании Иван Мотыгин по прозвищу Балабол, — а всё ж мы не желтопупые.

— Желтопупый?

Дед задирал исподнее — и о чудо! — посреди его впалого живота торчал пеньком абсолютно белый пуп.

Мужики хохотали.

— Доказал, Путята Горич, доказал, — с нарочитой уважительностью говорил Иван. — Пуп — это самое главное в человеке. От пупа он начинается.

Надо было видеть семью Тоушевых, всех вместе сидящих за самоваром, мужчин — в длинных светлых рубахах, подпоясанных крайками, женщин и девочек — в сарафанных платьях. На столе у Тоушевых — пышные, цвета яичного желтка калачи. Как мне ни внушали дома не ходить к чалдонам, когда они семейно трапезничают, я бежала к ним каждое воскресенье. Дома скучно, детская душа рвалась на простор и к людям. Цепных псов у нас в деревне не водилось, заборов не было, лишь пряслица, отгораживающие двор от улицы. Я бежала напрямик в избу к Тоушевым. Заходила и, по чалдонски кланяясь, говорила:

— Доброго здоровечка!

— И вам здоровыми быть, — серьёзно отвечал дедушка Путята, — милости прошу, проходите.

И приказывал невестке, молодой хозяйке:

— Любушка, порушь калач.

Это означало «нарежь».

Меня усаживали на высокий табурет работы деда Путяты, наливали чая, подавали кусок калача.

— Приятных аппетитов, — говорила я важно.

— Без аппетита всё летит, — всегда одно и то же отвечала Любушка, невестка недавно женившегося старшего сына. Толстая коса её тряслась от смеха вместе с плечами и грудью. Вслед за ней смеялись все.

Я благоговейно, как всё чалдонское семейство, приступала к калачу, прихлёбывала чай. Дома мама пекла такие же калачи, может, ещё посдобнее, но здесь, в окружении большой семьи, всё казалось вкуснее.

Тоушевы держали двух гнедых лошадей, которые паслись на лугу за Кулундой, а наша изба стояла недалеко от берега. Путята Горевич ходил присматривать за лошадьми вместе с внуками. Когда они шли мимо нас, мы с братом увязывались за ними. Друг за дружкой переходили по узким дощатым лавам через реку на Настасьин луг. Радость обдавала сердце от этого зелена-луга, хотелось бегать и скакать по нему на манер жеребят, зачастую мы так и делали. Дедушка Путята, стреножив своих гнедых, легко, невесомо присаживался на берёзовое бревно, до того изнутри усохшее, что кора болталась вокруг него, как кожа у вконец исхудавшего человека.

Тоушевы ребятишки кричали:

— Ребя, давай карагод (хоровод) водить!

Мы с братом вставали «карагодить», но песен чалдонских толком не знали. И только чуть подпевали. Потом я их запомнила.

Мы на луге были,
Мы венки вили,
Ой гаю, гаю,
Зелёному маю!

Или:

Пойду ль я, молода,
Пойду ль я, молода,
На Днипр, быстру реку.
Кину ль я, брошу ль я
Свой берёзовый веноч.
Тонет ли, тонет ли
Мой берёзовый веноч?
Тужит ли, тужит ли
по мне мой дружок?

Что это за Днипр, нам было неизвестно, но «корогодная» от этого делалась только шире, разливицей, и в ней была тайна.

Тоушевские дети — Манечка и Ольга — в своих чалдонских сарафанах, которые сами они называли русскими, а мальчишки — в белых рубашках с поясками, в хороводе смотрелись красивее нас, и я просила мать сшить мне сарафан, а брату длинную рубаху с пояском. После хоровода начинались догоняшки, мы носились прямо у ног лошадей, тогда дедушка Путята грозил нам жёлтым кулаком и звал к себе.

Сам Путята Горевич и все чалдоны говорили вместо «кони» — «комони», я сразу приняла это слово. «Комони» было приятно вкусным для детского языка и полностью совпадало с видом густогривых гнедых, играющих друг с другом на Настасьином лугу, несущихся по его зелени так, что из-под копыт брызгал сок молодой травы. Много позже, в университетские годы, читая в «Слове о полке Игореве»: «А сядем братие на свои бързья комони да поищем синегу Дону», — я словно бы снова встретила с гнедыми конями чалдона Путяты Горевича. «“Комони” — ныне не употребляемое слово», — прочла я в комментариях к одной исследовательской работе. А мы с малого детства его употребляли. Так же, как и глагол «рече», который часто встречается

в древнерусской литературе и духовных текстах на церковно-славянском. «Рече безумен в сердце своем: несть Бог» (52-й Псалом). Точно так и наши чалдоны вместо «сказал», «говорю», употребляли «рече», «реку», а бывало, и просто «ре». Мы с братом усвоили от них много лексики, говорили «еслиф», «надыть», говорили пойдём на «вулицу», чем смешили наших родителей. А мне и теперь эта «вулица» очень нравится. Уютное слово. Летом прямо посреди «вулицы», затянутой песком, играли мы, сидя в нём по пояс, просеивали в горстях, разглядывая полупрозрачный шёлк шелестящей песчаной струи, готовили из него кашу, когда играли в «дом», зло кидались горстями друг в друга во время ссоры. Шибко обогатили мы свою речь, пока водились с чалдонами. Как-то я забралась на крышу сеней. Разгуливая и напевая, забылась и ступила за край. Свалившись в середину двора, сильно ударила руку о поилку для куриц. Лежала и вопила:

— Руку умертвила! Руку убила!

Отец как раз строил баню за двором. Прибежал, поднял меня.

— Умертвила? Што ли рука твоя мёртвая? Тогда давай похороним, чалдонка ты моя. Не умертвила, а ушибла.

На само деле «умертвила руку» — очень точное выражение. Я так и чувствовала её: мертвой, бездейственной.оборот речи очень точный, и не сомневаюсь, что наши чалдоны тоже принесли с собой из русской древности.

Есть разные версии, кто такие чалдоны и почему их так называют. Долго бытовала простая, возможно, связанная с совпадением звуков: чалдоны — это те, кто «чалили» с Дона, то есть пришли с Дона, с юга России. Или что это казаки, населявшие местность между рекой Чалкой и Доном. Считаю, что никакого основания так думать о чалдонах нет, во всяком случае, мои чалдоны точно не оттуда.

Другая гипотеза: племя чалдонское — коренное сибирское, из монголоидов. Ну а как же их русский быт, традиции, обычаи и славянские зачастую черты лица? В словаре В.И.Даля поясняется, что чалдон — заимствование из монгольского языка и означает у них: бродяга, беженец, варнак. Коренные народы прозвали так пришлое племя чалдонами. Есть ещё мнение учёных, что в слове чалдоны наличествует видоизменённое «чело», то есть человек, голова.

Играя на Настасьином лугу, мы иногда начинали спорить, спор переходил в яростную ругань, каждый отстаивал своё: «Я первый осалил! Нет я! Я быстрее прибежал! Брешешь!» — и тому подобное. Но однажды (на лугу, кроме нас и чалдонов, было много детей с Бурлака), все мы жестоко перессорились, толкались, делали рожи, кидались колючками, плевались и орали друг другу: «Чтоб у тебя ячмень вскочил! А у тебя кила завелась! Чтоб ты провалилась! Чтоб ты сдох и матка твоя тоже!» И прочие добрые пожелания. Тут Путята вскочил со своего седалища и гаркнул: «Молчати!» Построил нас, как солдат в шеренгу, и стал объяснять, как страшно впадать в бешенство («впускати беси»), как опасно желать что-то плохое, губительное: «бо слово может воплотити стати», то есть воплотиться, сбыться. Он рассказал нам про тётку Алёну Чусову. «Алёна сиде у окна и строчила на машинке себе платье из хорошего штапеля. Пришла Шура, её матка, скандальная дюже, и стали они грызтися. И та плохое говорит, и другая то ж. И вот мать, впусти в душу беси, завизжала: «Чтоб ты громом прибило, тварь таку!» Плюнула и убежала. Алёна дальше осталась у окна шити. Началась гроза, гром, молонья. Алёна строчит, ниче не замечат. Окошко настезь. Ну вот и убила молонья Алёну. Теперь Шура волосы на голове рвёт, бо убила она дитя своё — своим же поганым словом». Меня эта история с Алёной потрясла. Я рассказывала её много раз за жизнь — подругам, коллегам по работе, своим детям, недавно был повод рассказать это моему старшему внуку Елисею.

Новинские зыряне

Очень хорошо запомнила я одну из семей зырян по фамилии Куркины, они жили на Средних Новинках. Новинок в деревне было три: Верхняя, Средняя, Нижняя. Новинки не потому, что эти улицы новые. Новью, новинкой называли у нас поле, расчищенное от кустарниковых дебрей, леса. Расчищали, осваивали целик под посадку, неподалёку ставили избы, — так возникали улицы. В моё время Средние Новинки были длинной улицей, уходящей в край деревни к сопкам. По низу сопки оборками росла сибирская вишня — гибрид черёмухи и вишни, склон покрывали заросли ежевики. Кое-где самосевом рос боярышник с крупной оранжевой, полной мякоти, бояркой, совсем не такой, как в среднерусской полосе. Нашу боярку парили с сахаром в печи, сушили на зиму, делали лепёшки. Зыряне пекли особо сладкие лепёшки, мне они напоминали по вкусу соты с мёдом.

Интересные эти зыряне. Фамилии имена-то русские, а сами не совсем. Вроде похожи на русских, а вроде другие. Глаза у многих светлые, но чуть косоного разреза, носы маленькие, приплюснутые. В семье у Куркиных было пятеро детей. Матушка их, зырянниха Анна, была красивой, белокожей, с румянцем на нежных скулах, и глаза голубые крупные и тоже с некоторой раскосинкой. Все женщины наши завидовали её густым чёрным волосам. «Богатый у Анны волос!»

Приветливые, неконфликтные, зыряне всё же жили немного особняком, как-то по-своему. Хорошо работали в колхозе и дома, умели плотничать, огородничать, всё толком. Зимой отец и старший сын охотничали. Ребята зырянские — все, кроме двухлетнего младшего, были зимой в заячьих шапках, а старший в лисьей. Я примерно с девяти лет ходила на лыжах не только в ближние колки, но и в дальний глубокий лес. Однажды сильно далеко ушла, поняла, что заблудилась. Пробираясь в одном месте сквозь дебри, вышла на заячью тропу. Заяц зимой всегда прокладывает себе на глубоком снегу тропу к кустам и деревьям, — оголодавши, глодают кору. У ближнего дерева я увидела переброшенную через ветвь жердь с верёвочной петлёй на конце. Это была «заячья петля», охотничье приспособление. Жердь здесь вроде короткого рычага. Она приподнимается над тропой при помощи вбитого колышка. А чтобы жердь не подняла петли раньше времени, верёвку у начала закрепляют за сучок, только крепить надо так, чтоб при движении зацепа враз соскочила. Проходя сквозь петлю, заяц дёргает её вперёд, тут зацепа соскакивает, конец жерди взлетает вверх, и петля затягивается на животном. Такие петли ставили у нас только зыряне. Я обошла тропу, продолжая искать дорогу назад, к деревне, и, чуть пройдя, наткнулась на лыжню. Среди белых снегов увидела почти призрачную фигуру и сразу догадалась, что это Сашка-зырян. Я крикнула ему. Но он не услышал. Я припустила вперёд, уже не боясь остаться навеки в зимнем лесу с волками и лисами.

Хорошим охотником был отец Сашки, Иван Стефанович. Он даже умел выманивать и уносить от норы лисят, дело, говорят, трудное и дюже опасное. Иван Стефанович растил лисят в клетках, как кроликов или нутрию. Вначале они похожи на серовато-бурых волчат, но концы хвостов у всех беленькие! Колька, мой ровесник, совал им в рот палец и вскрикивал, вроде как от укуса. Скорее притворялся, что больно. Лисята были не так смышлёны, как собачьи щенки, пугливы и недоверчивы. Все хотели спрятаться от нас. И вскоре мы потеряли к ним интерес.

Зная русский язык, дома зыряне — дед Стефан, Иван Стефанович и Анна, бывало, говорили на зырянском. Прибегая поиграть с Колькой, я была свидетелем

Александр Васькин

«Санта-Барбара» 90-х

Беглые заметки о духовной жизни общества

«А вот новость московская. Для меня, по крайней мере, новость. Театр Станиславского на Тверской по ночам, после 23-х часов, превращается в ночной клуб. Там, говорят, всё надлежащим образом оборудовано, сделан ремонт, мебель, всё в порядке. Официанты, охранники, привратники-негры. И во главе всего этого могучий босс, хозяин, владелец, и это не кто иной как Серёжа К.», — отметил сценарист Анатолий Гребнев в дневнике от 15 ноября 1994 года¹. Ещё Виссарион Белинский сказал когда-то, что театр есть «истинный храм искусства». Превращение театра в место утех новых русских, надо полагать, не укладывалось в голове умудрённого Гребнева. Но для лихих девяностых это было нормально. Днём — театр, вечером тоже театр, но специфический, со стриптизом. Кстати, сам Анатолий Гребнев по трагическому стечению обстоятельств попадёт под колёса автомобиля возле Дома ветеранов кино «Матвеевское» в 2002 году, где он поселится на исходе жизни. Всю жизнь писал для кино (сценарии фильмов «Июльский дождь», «Мне двадцать лет», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Петербургские тайны», «Дикая собака Динго», «Старые стены», «Утренний обход», «Частная жизнь», «Успех» и т.д.), и умер рядом с ним.

8 декабря 1994 года поражённый Гребнев вновь упомянет новый московский ночной клуб: «Заведение называется “Станиславский”, — это элитный клуб с членством за доллары (как гольф-клуб), там свой избранный круг, ночная жизнь, и на эти средства содержится бедный театр Станиславского, играющий сейчас два раза в неделю». Действительно, был такой ночной клуб на Тверской улице, так и назывался — «Станиславский». Что бы сказал сам Константин Сергеевич на это? Ещё не факт что возмутился. Он ведь по первому призванию был предпринимателем, сам ценил возможность отдохнуть в кабаре «Летучая мышь» в Гнездниках, куда впоследствии продавали билеты для всех желающих посидеть за столиком в компании известных артистов. Продавали потому, что от самих артистов дохода было немного. Какой с них прок, вечно голодных? Как всё похоже, не правда ли?

Васькин Александр Анатольевич — писатель, культуролог, историк. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московский государственный университет печати. Автор множества публикаций и книг. Печатался в журналах «Новый мир», «Нева», «Урал» и др. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2024, № 5.

Ночной клуб «Станиславский» открылся в 1994 году в здании одноимённого — Московского драматического театра имени К.С.Станиславского. Завсегдатаи клуба запомнили его «именитых посетителей», коими на тот момент были актёры Евдокия Германова, Эммануил Виторган, Алла Балтер: «За три месяца работы клуб приобрёл репутацию богемного, рассчитанного на толстые кошельки. Представители художественного сословия обладают почётными членскими карточками, они в некотором роде декорируют отдых людей, чей доход исчисляется шестизначными цифрами». Как мягко написано — «декорируют»...

Представители московской актёрской братии проводили в «Станиславском» поздневечернее и ночное время вместе с банкирами, продавцами дорогой недвижимости, водочными королями. Билет в ночной клуб можно было купить и за 25 долларов, и за 80, в зависимости от содержания культурной программы. Членская карта VIP Gold обходилась её владельцу в три тысячи «зелёных», что давало право беспрепятственного и привилегированного «культурного обслуживания». Показы западной и современной российской моды, демонстрация уже не моды, а оголённых частей тела (надеюсь, что не артистов театра, хотя чего уж тут мелочиться), а также выступление «звёзд», таких, например, как Любовь Успенская. Такое было культурное меню ночного клуба «Станиславский». А вот от казино владельцы отказались, «считая, что в казино ходят исключительно подозрительные личности и что подобная акция подорвёт их имидж элегантного и спокойного клуба»². Хозяин — барин...

Чтобы выжить и кое-как содержать труппу, театр и устроил ночной клуб. В погоне за зрителем «бедный» театр старался не отставать от бытия. А точнее — от повседневной жизни тех лет. Разве «Чайкой» или «Тремя сёстрами» в классической трактовке кого-нибудь заманишь? Вот если бы «Чайка» была не птицей, а персональным автомобилем членов Политбюро, который можно поставить на сцене... Такой сюжет можно закрутить! А «Три сестры»? Зачем им любить своих мужчин, пусть любят друг друга, и тоже на сцене. Вот тогда зритель пойдёт... Потому и ставили такие спектакли как «Мужской род, единственное число» — про американского офицера-трансвестита, роль которого исполнил Владимир Коренев, хорошо известный ещё с советских времён по фильму «Человек-амфибия». Постановка стала хитом, как тогда выражались. Премьера «пикантной французской комедии положений» на сцене театра имени Станиславского прошла в 1996 году, снискав успех. Герой Владимира Коренева также был амфибией, но несколько в ином плане... И потому спектакль задержался в репертуаре аж лет на десять, что уже было хорошим экономическим показателем, учитывая специфику эпохи. О художественных достоинствах речь не шла.

На какие только ухищрения не шли, чтобы наполнить театральную кассу. Кому, например, интересен спектакль про Пушкина, кроме школьников, организованно посещающих театр на каникулах? С детских спектаклей выручка небольшая. А вот если завернуть что-нибудь этакое... И позвать даже не Пушкина, а... Петра Мамонова, с восьмидесятых годов известного благодаря рок-группе «Звуки Му»? Выбор был неожиданным, но в точку. Ибо, как подчёркивали музыкальные критики, творчество Мамонова, его песни есть ни что иное, как «своеобразный спектакль, герой которого — личность, стоящая на обочине жизни, вдали от привилегий нуворишей политики и искусства. Сценический образ Мамонова — это юродивый, “городской сумасшедший”, жестикуляцией, телодвижениями и приплясываниями напоминающий шута»³. Более того, «Мамонов демонстрирует обществу изнанку человеческой жизни». Так это же то что надо!

Петра Мамонова с полным основанием можно назвать лицом девяностых и в жизни, и в театре, и в кино. И не случайность вытолкнула его на сцену, а сама повседневность. Наиболее известный его киногерой — это саксофонист-алкаш в киноленте Павла Лунгина «Такси-блюз» 1990 года, тогда же отмеченной за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Странно, что не наградили самого актёра. Но ещё большее разнообразных образов создал Мамонов на театральной сцене. Вернее, играл-то он всегда себя самого, но под разными именами. В 1992 году в театре Станиславского вышел спектакль «Лысый брюнет», затем «Полковнику никто не пишет» по Габриэлю Гарсиа Маркесу, потом — «Есть ли жизнь на Марсе?». Пересказывать сюжет последнего я не буду — можно посмотреть запись и сегодня. Но нам интересно другое: как это всё воспринималось не только публикой, охотно несущей свои рубрики в кассу, но и критиками.

«Спектакль “Есть ли жизнь на Марсе?”», показанный в Драматическом театре имени Станиславского, вызвал во мне не просто восторг и восхищение, но некое экстатическое состояние, которое последний раз я испытывал в 1977 году на “Гамлете” в постановке Тарковского. Если соединить воедино трагикомедию, гротеск, стебало, сарказм, фантазмагорию, пантомиму, мюзикл и блестящую актёрскую игру — это и будет “Есть ли жизнь на Марсе?”, а сотворил этот антрепризный моноспектакль всего один человек — Пётр Мамонов. Здесь он выступает в роли драматурга, режиссёра-постановщика, сценографа, автора музыки и единственного исполнителя. Об уникальном актёрском таланте Мамонова писали много, но, пожалуй, именно в этой постановке он проявился во всей полноте. То было лицедейство в высшем смысле этого слова, где сочетались неповторимые мамоновские мимика, жесты, пластика, пение и драматическая игра; причём всё — с полной отдачей, без каких-либо поблажек самому себе (в отличие от многих наших театральных актёров, играющих “вполноги”). Режиссура — безупречная, действие развивается динамично, упруго, без занудства; скучно не становится ни на секунду. Пётр Мамонов, постоянно перевоплощаясь, заставляет зрителей то содрогаться от хохота, то застывать в изумлении, то призадумываться, узнавая в сценических образах самих себя. Пьеса, сочинённая Мамоновым, представляет собой экзистенциальную версию чеховского “Предложения” с добавлением отдельных сюжетных линий в виде зарисовок из российской жизни, а также фактов биографии Антона Павловича, представленных в саркастическом ключе... А осенью Пётр Николаевич Мамонов, если всё будет в порядке, порадует всех нас своей новой постановкой, чего мы ему искренне желаем», — восхищался Александр Осипов⁴.

В процитированной рецензии есть два важных момента. Во-первых, параллель с Андреем Тарковским и его спектаклем «Гамлет», в 1977 году поставленным в Театре имени Ленинского комсомола (ныне Ленком). В том давнем и не понятном зрителями спектакле играли Анатолий Солоницын, Инна Чурикова, Маргарита Терехова, Николай Караченцов. А не поняли потому, что «Гамлет» Тарковского «опередил своё время». Так успокаивают друг друга биографы Тарковского. О каком «опережённом времени» идёт речь? Видимо, о девяностых, когда можно было всё. Но что-то закрадываются сомнения в прибыльности спектакля: три с половиной часа, пускай даже с Чуриковой и Тереховой на сцене, выдерживали немногие. Потому Марк Захаров и снял его спустя несколько месяцев. Во-вторых, автор рецензии называет лучшие черты спектакля Петра Мамонова: «...Без занудства; скучно не становится ни на одну секунду». Вот оно, оказывается, как! Да если подходить с такими критериями ко всем спектаклям, то добрую половину можно сразу снимать с репертуара.

В лихие девяностые Пётр Мамонов пережил жестокую депрессию. «У меня был полный крах жизни. Я упёрся рогом в сорок пять лет, когда и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая. А жить мне стало незачем», — делился он в интервью. Разочарование в жизни заставило его в 1995 году переехать на постоянное жительство в подмосковную деревню, недалеко от Вереи, где он «стал думать, для чего вообще жить, для чего мне эти отпущенные семьдесят — или сколько там — лет жизни. А прапрадед мой был протоиереем собора Василия Блаженного. Дай, думаю, куплю молитвословчик, посмотрю, о чём они там молятся»⁵. Выход из депрессии он нашёл не только в православии, но и в театре.

Судя по количеству новых песен и спектаклей, вдохновение к Мамонову вернулось. Творческим итогом лихих девяностых для него стал не только диск «Шоколадный Пушкин», но и одноимённый спектакль, премьера которого в Московском драматическом театре им.К.С.Станиславского пришлась аккурат на 11 сентября 2001 года, в тот самый день, когда по телевизору в прямом эфире самолёты врезались в американские небоскрёбы. Спектакль вышел забавным: «Мамонов показывает как, треща от внутреннего напряжения и осыпаясь на ходу, мысль складывается в корявое, безобразное, разрушающее форму, но точно соответствующее своей внутренней сути слово. Временами сил не хватает, и вместо речи рождается вой — герой корчится, пытаясь высказать невыразимое, но Слово не приходит», — отзывались «Известия»⁶. А сюрреализм происходящего был подчёркнут трагическими сентябрьскими событиями 2001 года.

На спектаклях Мамонова выросло поколение его преданных поклонников. Они готовы были скупать билеты, уверовав, что «Мамонов — настоящий и ни на кого не похож. А ради такого можно хоть на край света пойти. Как бы спектакль ни назывался, суть будет одна: на сцену выйдет Пётр Николаевич Мамонов и сыграет самого себя. В новом спектакле, название которого, как всегда, не имеет никакого отношения к происходящему, всё по-прежнему. В застиранной защитного цвета футболке, серых брюках и с гитарой за спиной музыкант прочтёт свой странный, неритмичный рэп о подворотнях и закрытых пивных ларьках»⁷. А когда-то на сцену театра Станиславского выходили Михаил Яншин, Андрей Попов, Евгений Леонов.

Иногда мне говорят:
А ведь у вас есть друзья —
Я говорю,
Какие друзья —
Те, кто пил, бросил и помер, а других нет... —

произносил Мамонов со сцены... Его самобытность и подкупала зрителя, причём самого разного. Некоторые почитатели мамоновского таланта уверены, что в память о театральных свершениях их кумира переулочек у театра переименовали в Мамоновский. И хотя это не так, не будем их разочаровывать.

Ну а тех, кто не желал провести культурный досуг в ночном клубе «Станиславский», мог пожаловать в «Ленком», где был свой клуб «2х2», и также для богемы. Актёры — тоже люди, к тому же «в наше смутное время не слишком избалованные материальным благополучием, поэтому их желание немного подзаработать вряд ли осквернит чистоту Мельпомены». Так это трактовалось тогда. Да и само слово «досуг» обрело новый смысл. Многочисленные газетные объявления в одной бывшей комсомольской газете предлагали «провести досуг» в самых разных районах Москвы и в обществе «симпатичных девушек». Поэтому даже не сомневаюсь, что кто-то из памятливых

читателей, встретив это выражение, задастся вопросом: «Это о каком же досуге речь?» Да о культуре я, о культуре...

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Валентин Плучек долго жил в престижном «цековском» доме № 2/6 на Большой Бронной. В лихие девяностые всё это стало называться элитной недвижимостью. Стоимость квадратного метра в таких домах взлетела в разы, в том числе и по причине наличия «приличных соседей». А соседей представлять не надо: Юрий Никулин, Святослав Рихтер... И те самые обладатели золотых членских карт ночного клуба готовы были отдать любые деньги, чтобы поселиться бок о бок с народными любимцами, актёрами и режиссёрами (да в тех же сталинских высотках). Так сказать, из грязи в князи. Любимцы старели, болели, нуждаясь в средствах, и готовы были продать свои метры. То есть происходил интересный для социологии процесс «обмена недвижимостью в природе». Раньше, в «сытые семидесятые», чтобы получить такую квартиру, нужны были особые заслуги. Людей случайных консьержка на порог бы не пустила.

Короче говоря, выбравшись как-то из своего дома, Валентин Плучек, увидев кучи грязи и мусора, давно скучавшего по метле московского дворника, а ещё копающихся в помойке плохо одетых людей, был озарён: пора ставить Оскара Уайльда! Это ведь именно английский писатель сказал: «Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звёзды». Сточная канава лихих девяностых тоже рождала если не шедевры, то театральные удачи.

В 1991 году театр Сатиры представил зрителям премьеру — «Идеальный муж» Оскара Уайльда в постановке Валентина Плучека. Комедия о коррупции, воровстве и шантаже как-то очень уместно укладывалась в репертуар и общую атмосферу повседневной жизни.

Популярный некогда театр Сатиры, где в прежние годы блистали Андрей Миронов и Анатолий Папанов, привлекал зрителей самыми разными спектаклями. Среди них были и те, что не забылись по сей день: «Привет от Цюрупы!», «Секретарши», «Счастливых-Несчастливых», «Восемь любящих женщин», «Поле битвы после победы принадлежит мародёрам», «Как пришить старушку»... Последний, кстати, с Ольгой Аросевой в главной роли снискал завидный успех — шёл долго и неутомимо.

В Советском Союзе нередко бывало, что уже поставленный спектакль снимали с репертуара спустя несколько показов. Например, спектакли «Василий Тёркин» и «Доходное место», поставленные в театре Сатиры в 1960-е годы, запретила министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Эти спектакли были опасны и полны аналогий. Теперь же, в девяностые, никто ничего не запрещал. Отсутствие Главлита, каких-либо сдерживающих административных рамок открывало огромные возможности перед деятелями искусства в воплощении давно задуманных замыслов. Только вот средств не всегда хватало, потому искали повсюду спонсоров — в основном крупные банки с деньгами неизвестного происхождения (та же «Чара»). Реклама спонсора, перед которым театр вынужден был расшаркиваться, украшала театральную программку и фойе театра. Большую прибыль стал приносить и театральная буфет: коньяк, водку, виски наливали здесь без меры.

Но если деньги находили, то вот со вкусом были очевидные проблемы. Где его взять, если Бог не дал? Взгляды на такие диаметрально противоположные понятия как художественный вкус и пошлость порою разделяли театральную труппу, как та трещина, что прошла под палаткой папанинцев. Показательна история

Александр Чанцев

Анархи, хаоты и суфийский катехон

Все три книги из этой рубрики объединяет тема странствий. Герой тысячестраничной биографии Уильяма Берроуза и автобиографический персонаж книги вечного хиппи и живого мистика Владимира Видеманна не просто пускаются в путешествия, но живут в состоянии поиска. Такой же неканоничной веры, как и их нестандартные путешествия, как и они, аутсайдеры, сами. Ради этого в нашу нон-фикшн рубрику я впервые привлёк и художественное произведение — роман Сухбата Афлатуни (Евгения Абдуллаева). Ведь его герой, кажется, если не обрёл, то нащупал что-то, что можно найти на излёте странствий и поиска в нашем, как всегда, рушащемся мире.

Старец в высоком замке

Барри МАЙЛЗ. Моё погоняло Берроуз / Пер. с англ. М.Бобровой. — М.: Chaoss/press, 2023. 1135 с.

Уильям Сьюард Берроуз (1914—1997) такой же отец контркультуры XX века, как тот Старец горы, исмаилит-киллер Хасан ибн Ас-Саббах, волшебник, глава тайной секты ассасинов, спецангентов-диверсантов, которых он держал в дальней крепости¹, а потом, натренированных и с помощью магии, гашиша и опиатов, отправлял на секретные задания. Берроузу дали книгу о нём, ему очень понравилась легенда, он инкорпорирует её в свои книги. Таким он был и сам. Не только тем, какие споры вольной мысли во всех почти видах искусств распространял, но и по степени своего влияния на простых читателей и тех, кто, в свою очередь, творил прошлый век. Ассасин от (контр)культуры, он убивал старое, внедрял новое.

Вот из аннотации. «Берроуз писал романы, мемуары, технические руководства и стихи. Он рисовал, делал коллажи, сделал тысячи фотографий, продюсировал сотни часов экспериментальных записей, снимался в кино и записал больше компакт-дисков, чем большинство рок-групп. За свою жизнь Берроуз сотрудничал с многими идолами контркультуры, оказав на них большое влияние: Курт Кобейн, Патти Смит, Майкл Стайп, Энди Уорхол, Мик Джаггер, Йэн Кертис, Дэвид Кроненберг,

Дж.Дж.Баллард, Жан-Мишель Баския, Пол Маккартни, Гас Ван Сент, Том Уэйтс, U2, — и продолжает оставаться культовой фигурой».

И это даже не всё — в этом внушительном списке нет, например, битников, а за возникновение бит-движения он несет прямую ответственность. Впрочем, это отчасти справедливо — он был отцом-основателем, а затем иногда дистанцировался от аффилирования с движением. И ещё метко сказано в книге, что «вовсе не являясь представителями одного поколения, первые битники теперь сумели занять значимые позиции в трёх разных десятилетиях: Керуак был крепко пьющим, громогласным представителем пятидесятых годов, Гинзберг — психоделических антивоенных шестидесятых, а Берроуз теперь представлял всё, что было круто в семидесятых». Возможно, тем его фигура и крепка во времени, что его мрачный, холодный образ, рисующий, даже в футуристическом ключе, картины бунта во времена тотального одиночества и краха, если и не очень вписывается в веселые 60-е, то уж во все остальные времена встает прекрасно.

Разумеется, при таком послужном списке, граничащем с настоящим величием, Берроуз не обделен биографическими исследованиями². В конце этого фолианта-гримуара приведен их внушительный список. Конечно, увы, на русском языке такого богатства нет, а есть — книга того же Барри Майлза «Бит Отель: Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже, 1957—1963», посвященная французским годам битников, которые, впрочем, сам Берроуз считал одними из самых плодотворных. Немаловажно, что Майлз знал как самого Берроуза, так и его круг, участвовал в прижизненной ещё работе по разбору его архива. Бьёт же иные книги труд Майлза даже не этим, а, да, объёмом, всеохватностью. Притом это действительно биография, без захода, как, знаете, бывает, в разбор каждой книги для увеличения размера с помощью не самого глубокого филологического анализа. Посему про некоторые дни Берроуза мы узнаем вплоть до почасового его расписания, увидим в деталях гостиницы, где он жил, обстановку его съемных квартир (в Танжере и бункера в Нью-Йорке уж точно), его диету даже (любил, в английском духе, чай гонять, а что до конца более чем долгой жизни он не отказывался от наркотиков, так это известно давно). При этом скажу сразу — и написано всё это хорошо, и такой тут заряд имён, явлений, тем и событий, что книга, несмотря на объём, читается очень бодро. На ура читается, ведь это тот случай, когда жизнь круче многих романов. Что же касается некоторых огрехов перевода, не почищенных редактором-корректором, и издания (так, огромный указатель имен просто перенесен из оригинала, номера страниц ведут к американскому изданию), то, как говорится, сделайте книгу сами лучше (своим контркультурным посылом явно перпендикулярную ванильным и цензурным временам глянцевого героя).

Так кто же таков Берроуз? Прозвучит, возможно, излишне выпендрено, но если узнаешь его хорошо, подробно знакомясь с его жизнью, то всё равно остается что-то непонятное в нём. Какая-то «доля ангелов».

Вот как он возник, появился, сформировался? Да, семья — многочисленная очень — была интересной. Сухой — как сам Берроуз, шокировавший всех при всей трансгрессивности письма своим образом в костюме-тройке и шляпе и прохладной, вежливейшей манерой обхождения — отец и влюбленная практически в сына, дико

преданная мать. С бабушками-дедушками-дядьями тоже занимательно. Кто-то — изобретатель и успешный бизнесмен (запатентовали что-то типа арифмометра, на акции ещё долго жили), кто-то наркоман и алкоголик. Разнообразно вообще было: дед Берроуза был странствующим священником и автором религиозных сочинений, старший брат матери по делам фирмы встречался с Гитлером и консультировал Геббельса, а мать в юности танцевала с Элиотом, тот происходил из тех же краев (и так же покинул потом Америку). Важнее же, что родители Берроуза были весьма состоятельными и всю свою жизнь содержали Берроуза³, ежемесячно посылая ему чеки и, когда требовался залог за него, бросались (ехал отец или брат, абсолютно не похожий на него, обычный клерк) на помощь. Берроуз, с одной стороны, пытался максимально выйти из-под их контроля, с другой — винил себя потом, что ничего не дал им взамен (мать в доме престарелых не навещал, слал ей стихотворные открытки). А когда они умерли, то подоспело наследство и, на громкой славе «Голого завтрака» и других его произведений, те гонорары, что сделали его относительно состоятельным.

Ему вообще везло. Так, будучи несколько раз на грани передозировки и тюрьмы (и не только за наркотики, но и за убийства — первый труп был в его бит-окружении, второй — жена, которую он застрелил, как известно, играя в Вильгельма Телля), он всегда выкручивался, выходил почти сухим из воды⁴.

Но всё равно, как Берроуз стал Берроузом, а не, скажем, своим братом? Почему не сделал карьеру в другом? Да, в школе счёт ему особо не давался, учеба не очень интересовала. Но он получил в итоге прекрасное образование, ум, очевидно, был незаурядным.

Да, были уже какие-то «звоночки» и небольшие знаки. В раннем детстве имел вроде бы случай какого-то сексуального насилия, которому его подвергла няня-ирландка (она же впечатлила всякими сказками-заговорами из области ирландских народных верований). Да, он читал «неправильную» литературу в виде Лотреамона, Ницше и других. Да, осознал довольно рано свою гомосексуальность — и очень долго не знал, что с ней делать, ведь тогда это не только было под полным запретом и преследовалось, но и многие (как его бабушка, старосветская леди, которая могла подвергнуть полному ostracismu за любую мелочь, а что ее дети и внуки сидят с ней за обедом изрядно пьяные, не замечала) просто даже не слышали о таком, быть такого не может. Да, пришла постепенно и — первый приём от болезни, как у того же Булгакова, — наркозависимость. И как, например, с ней. Да, бывали периоды жесткой зависимости, когда Берроуз тратил все свои деньги на это, одно время в Марокко бродил совершенно больным, тощим как смерть (излишней упитанностью он никогда не отличался, с молодости выглядел как удачный кандидат на роль Кашея) и даже, о ужас, в грязных одеждах, месяц не мылся. Но он всегда брал себя в руки, вводил контроль и слезал, в итоге выработав своеобразную диету (уже 80-летним начинал день с травки и выданного в клинике для наркоманов метадона, запивал водкой, вообще, в неизменённом состоянии не написал практически ни строчки). Возможно, логика тут как у хиппи и ситуационистов: «Освобождение неограниченного удовольствия — самый верный путь к революции повседневной жизни, к построению целостности человека»⁵.

Но ведь многие с этим жили и живут, даже становятся благопристойными членами общества. И у него не только был потенциал для этого, но и вели его,

особенно в начале, мне кажется, два разных вектора. Один, понятно, к той очень свободной жизни (не работал, странствовал, нужны были мальчики и вещества, из Америки бежал, ибо там пытались завинтить гайки) и тому творчеству, что всё это описывало. Другой же — чуть ли не к добропорядочной, спокойной, оседлой жизни. В ранние годы — может, и позже? Ведь под конец жизни Берроуз купил свое первое жилье в Канзасе, красили ему там стены, обставляли, жил внешне как почти обычный гражданин.

Так, после колледжа (и лечений у всяких психологов разных школ) Берроуз серьезно пытался записаться то в армию (подвело зрение), то в военные лётчики (!), то в ВМФ, то в разведку (в будущем ЦРУ у родителей нашелся даже блат, но имидж у Берроуза уже был всё же не для защиты интересов своей страны). То нанимался в частные сыщики, то ещё куда-то его тянуло. Тут-то понятно, это — страсть к маргинальным занятиям. Берроуз всю жизнь очень интересовался жизнью пиратов (хотел в соавторстве даже книгу о них написать) и преступников⁶. Не только одним из любимых собеседников в Танжере у него был сбежавший из Англии мелкий гангстер со своими байками, но и сам Берроуз несколько раз прикидывал собственную карьеру в преступном мире, даже пытался что-то делать в этом направлении (то приторговывал всякой запрещенной химией, то её же хотел поставлять в Европу из Марокко вшитой в седла для верблюдов, его замели, а из-за, опять же, странного имиджа, недоброжелателя и переписки со всем миром сочли было главой международного наркокартеля. Что ж, такое амплуа ему даже льстило). Та же самая романтика и с агентами спецслужб. То у него был любовник из военной разведки, то он с ними обращался в международном, как Шанхай времен международного сетлмента⁷, Танжере, то — его вечные костюмы, шляпы и ещё любовь к оружию — самого принимали за, считали явно не просто писателем⁸. Как это стыковалось с его техникой «невидимки» (он практиковал способность пройти через толпу, даже арабскую, так, чтобы не привлечь ничье внимание), бог весть.

С этим понятно, но Берроуз делал и другие движения к обычной жизни. Когда забеременела его жена, он резко выступил против аборта (при этом жена всё принимала и пила, а он, тактично никого в жизни ни к чему не принуждая, ничего не говорил против), хотел быть хорошим отцом и поначалу им и был. Хотя тоже странновато: они с женой скребли даже стены для пущей дезинфекции, но детей принципиально не мыли. Или несколько раз в жизни пытался, серьезно хотел стать фермером. Покупал землю то в Америке, то в Мексике, копал там какие-то колодцы, вкладывался в поля кукурузы, наёмных рабочих и прочее. На это, конечно, забавно было бы посмотреть, потому что и «на природе» Берроуз ходил в костюме-тройке, а, временно распрощавшись с наркотиками, скоро он и его компания (вокруг него всегда, в особенности в старости, были такие прокси-семьи, кстати, ухаживали за ним в последние годы лучше, чем родственники бы какие-либо) опустошили все алкогольные магазины в радиусе 25 миль (не самый пьющий штат, впрочем). Потом, конечно, всё пошло так, как и, скорее всего, должно было пойти: сына Уильяма Берроуза-младшего воспитывали бабка с дедом, а когда во взрослом возрасте тот стал законченным наркоманом, алкоголиком с циррозом и истеричным побирušкой (при этом, разумеется, во всем винил отца), пожилой Берроуз всячески пытался помочь, вытаскивал его и впал в тяжкую депрессию после его смерти.

Вели его и духи. В убийстве своей гражданской жены Джоан Берроуз винил некоего Уродливого Духа, который не только склонил его взять пистолет смертельно пьяным, но и на протяжении всей жизни ввергал в тяжелейшую депрессию. Про духа не знаем, однако, действительно, Берроуз стрелял метко, как настоящий снайпер, а к безумным поступкам не был склонен, не было в нем этого грубого задора рок-звезды, разносящего гостиничный номер под одобрительный гогот группиз. Кстати, в книге даются различные версии этого происшествия — за которое Берроуз действительно склонен был винить себя до конца жизни (существенного срока в тюрьме-то он избежал, отделавшись в итоге условным из-за сведения всего к несчастному случаю), — включая и следующую. Друг Джоан, который, кстати, недолюбливал Уильяма, как-то сказал, что «она хотела умереть и дала Биллу возможность убить кого-нибудь. Вся эта история с Вильгельмом Теллем была просто фарсом. Ее смерть была подстроена, чтобы освободить Билла, позволить ему совершить “тяжелейшее преступление” — он по-детски (Как Раскольников? — А. Ч.) относился к таким вещам. Джоан отдала свою жизнь за Билла». В пользу этой версии говорит то, что Джоан была инвалидом и хроническим алкоголиком, против — что это оставило серьезный шрам на душе Берроуза на всю жизнь.

Книга и начинается со сцены, когда индейский шаман проводит над 65-летним Берроузом обряд экзорцизма, этого Духа с трудом, но удается изгнать. Берроуз вздыхает с облегчением. «Уильям Берроуз верил в духов, оккультизм, демонов, проклятие и магию. “Я правда верю в магическую вселенную, где ничего не происходит, если только кто-то этого не захочет, а то, что мы видим, — не один бог, а множество богов, наделённых властью и находящихся в конфликте друг с другом”. И он действительно верил, не только в то, что ничто, даже несчастные случаи, не происходит без воли человека (другого человека, сущности), но и что может наводить проклятие (так он «обанкротил» пару кафе, где с ним вели себя «не по рангу», чем любил хвастаться). На вопрос же о своих религиозных взглядах он отвечал: «Исмаилит и гностик или манихей. Манихеи верят в реальность борьбы между добром и злом, но эта борьба не является вечной, поскольку кто-то из них рано или поздно победит». При этом с христианством сражался: «Христианство — это самый вирулентный духовный яд, когда-либо применявшийся на нашей подверженной катастрофам планете. Оно паразитирует на людях, а паразитизм — это сущность зла». Что ж, понятные пафос и риторика для убежденного либертена, к тому же происходившего из семьи и среды с жесткими католическими установками. «Я ненавижу христианство Библейского пояса — мёртвое, задыхающееся под слоями невежества, глупости, едва скрываемого фанатизма и злобной ненависти» — остается пофантазировать, каким бы проповедником живого христианства, например, тех же медитативных и дыхательных техник исихазма Берроуз мог бы стать, коли бы столкнулся с ними. Хотя, по его неприятию и буддизма, можно предположить, что монотеистические религии были для него слишком авторитарны. Или же таковыми он считал то, что уж слишком насаждалось — «всю эту восточную хрень» буддизма и индуизма он не любил, скорее всего, ибо с ними носились в своем кругу хиппи, Гинзберг и прочие контркультурщики того времени. Берроуз-то был исключением и среди них. Он же всегда искал иного, хотел сесть на свой Нова экспресс. «На протяжении всей своей жизни Берроуз опробовал на себе десятки форм самосовершенствования, от сайентологии

до экстрасенсорного восприятия, психоанализа, оргонного ящика Вильгельма Райха и вегетерапии Райха. Он практиковал метод восстановления осанки Александра, изучал общую семантику, семинары Роберта Монро о внетелесном опыте, эксперименты с паранормальными пленками Константина Раудива, “Столп света” майора Брюса Макмануэя, псионическую машину желаний и “Дона Хуана” Карлоса Кастанеды. Он верил в НЛО и похищения инопланетянами Уитли Стриберна и в Лондоне воспользовался компьютером “Контроль”, который отвечал на вопросы за двенадцать шиллингов и шесть пенсов за раз⁹. Он чувствовал, что все эти системы имеют какую-то ценность, но ни одна из них не смогла ему помочь».

Отдельно тут можно отметить опыты Берроуза с аяуаской и латиноамериканским шаманизмом — в поисках их он объездил крайне экзотические места в Панаме, забираясь в джунгли. «Билл проехал в кузове грузовика тридцать миль до Пуэрто-Лимона, рядом с извилистой Рио-Какета, где нашел услужливого индейца и за десять минут заполучил лозу яхе. Но индеец отказался её готовить, настаивая на том, что это монополия брухо. По сути, брухо — это чёрный маг, сочетающий элементы колдовства с испанским католицизмом, в то время как курандеро являются наследниками методов народной медицины майя и занимаются белой магией». Впрочем, с широко открытыми глазами восприятия Берроуз находил магическое в менее экзотических местах. Он писал: «Танжер простирается в нескольких измерениях. Ты постоянно находишь места, которые раньше не замечал. Нет границы между реальным миром и миром мифов и символов. Предметы, ощущения поражают своей галлюцинаторностью. Конечно, сейчас я вижу глазами ребёнка, глазами Лазаря, вернувшегося из серого лимба джанки (Берроуз тогда решительно завязал. — А.Ч.). Но то, что я вижу, существует. Другие тоже это видят». Да, Пол Боулз, с которым Берроуз общался все эти годы в Танжере (даже жил по соседству, «могу плюнуть на его крышу») и Роберт Ирвин, автор «Плоти молитвенных подушек», поддержали бы полностью.

Стоит при этом иметь в виду, что духовные поиски Берроуза не были данью моде, минутному пристрастию и занятием полного неопита. Кроме общей начитанности Берроуз занимался этими темами, в частности, в Гарварде (у него были возобновлявшиеся даже в Мексике желания стать то антропологом, то врачом). «Берроуз углубился в изучение колдовства и тибетского тантризма и прочитал множество книг на эту тему. Его профессор, Джордж Лайман Киттрэджд, опубликовал книгу “Колдовство в Старой и Новой Англии” за три года до этого, и Берроуз также читал его “Заметки о колдовстве” (1907). <...> Берроуз читал “Тибетскую книгу мёртвых” в переводе У.Й.Эванса-Венца и перевод “Маханирвана-тантры” сэра Джона Вудроффа. Его мать познакомила его с буддийскими концепциями Четырёх благородных истин во время их долгих бесед (позже она подарила ему свой экземпляр “Сиддхартхи” Германа Гессе, опубликованный в 1951 году). Он на много лет опередил Гинзберга и Керуака в изучении буддизма, но, хотя его интересовали многие идеи, он отверг буддизм, требующий слишком серьёзных научных изысканий для человека с западным происхождением. Он изучал астрологию и занимался йогой, иногда запираясь в своей комнате на несколько дней».

Берроуз был настроен серьёзно, даже одно время планировал «создать институт передовых исследований где-нибудь в Шотландии»¹⁰. «Его целью будет расширение

сознания и изменение сознания в направлении большего диапазона, гибкости и эффективности в то время, когда традиционные дисциплины не смогли предложить жизнеспособных решений. Видите ли, наступление космической эры и возможность исследования галактик и контакта с инопланетными формами жизни ставит перед нами настоящую необходимость в радикально новых решениях. Эксперименты с наркотиками не планируются, в центре не будут разрешены никакие наркотики, кроме алкоголя, табака и личных лекарств, полученных по рецепту врача. В основном предлагаемые нами эксперименты недороги и просты в проведении. Такие вещи, как йогическая медитация и упражнения, общение, эксперименты со звуком, светом и кино, эксперименты с камерами сенсорной депривации, пирамидами, психотропными генераторами и оргонными аккумуляторами Райха, эксперименты с инфразвуком, эксперименты со сновидениями и сном. Расширение сознания в конечном итоге приводит к мутациям».

В конце концов Берроуз приобрел своеобразный образ наставника и продвинутого — как в трансгрессивных опытах своей жизни и искусства, так и, отчасти, в сверхъестественных опытах. «Он нравился Берроузу, потому что очень увлекался магией, а Якуби считал Билла великим магом».

Уж не знаю, насколько великим магом был Берроуз по части наведения им порчи на общепит с плохими манерами, но волшебником он точно был в изобретенном им художественном методе — так называемых его нарезках (cut-up). Кстати, он и использовал, в числе много прочего (литературы, кино, звукозаписи), и для сглаза: «В своем возмездии Берроуз использовал одну из своих новых практик. Ещё со времен Чикагской конвенции он заинтересовался идеей разрезки как способа изменения сознания и подрыва пространственно-временного континуума, фиксируя ситуацию на улице и делая фотографии, а затем воспроизводя их на месте, подменяя реальную действительность и приводя, как он выразился, к несчастным случаям, пожарам и выселению. Он совершил нападение на лондонскую штаб-квартиру саентологии по адресу Фицрой-стрит, 37, в Блумсбери». Никому не стоило связываться с Уильямом С. Берроузом, человеком в старомодной шпионской шляпе!

От Уродливого Духа, а не только от подавляющего американского социума и отвратительного ему истеблишмента, Берроуз бежал большую часть жизни, скитаясь по странам, отелям и съемным домам-квартирам. Книгу, в принципе, можно ещё читать и как травелог с яркими картинками всех тех мест, где обитал Берроуз. Австрия и Хорватия¹¹ (в юности), Америка и Мексика, тот самый бит-отель в Париже и Марокко, конечно (где Берроуз был опять же первым, опередил его только Боулз, а остальные битники подтянулись потом, приезжали в гости), Панама и Дания, то любезный его сердцу, то надоедавший Лондон (вообще, Берроуз торил новые дороги, до всеобщей любви к экзотике, а так-то что Рим, что Лондон костил как скучные, депрессивные и с плохим и дорогим сервисом места). «Доктор рассказал Берроузу много баек о джунглях: о жёлтых сомах с очень ядовитыми шипами...» — расскажут их и нам.

Впрочем, перемещения по городам и весям из-за неблагонадежного имиджа Берроуза были зачастую и не так просты: в Америке на влёте его обыскивали буквально до трусов, в Англии вдруг срезали полагающийся срок пребывания, а в Канаду на ТВ-передачу пришлось пробираться через границу контрабандно.

Когда же Берроуз на старости лет купил свой первый дом на окраине (чтобы он мог стрелять, в черте города се запрещено было) маленького городка в Канзасе, вектор изменился: он сам осел, а ехали уже к нему на поклон. Время, когда Берроуз сам мог кого-то посетить (Селина, поговорили мило, но «Берроуз видел, что Селин был из тех людей, которых можно отправить куда угодно, и они тут же окажутся в плохих отношениях с соседями», а подаренные тем книги Гинзберга Селин и не думал открыть), принимал в Танжере избранных и друзей (Френсис Бэкон, «когда Гинзберг предложил ему выпить из пустой консервной банки, извлеченной из мусорки, пытался протестовать»), прошло, теперь же — не зарастала народная тропа к иконе контркультуры. Патти Смит просто влюбилась в Берроуза (серия фотографий, где она сидит, обнимая его ноги) — но Берроуз уже навострился отбиваться от влюбленностей неугодного ему пола. Приехал к кумиру восторженный Кобейн, посидел в оргонном ящике производства Берроуза. Сам Берроуз в свои годы ни Nirvana не слушал, ни о Кобейне толком не слышал, но оценим прозорливые круги на воде: не только вдохновил Кобейна на известный кавер, ставший его последней песней, Where Did You Sleep Last Night (Кобейн подарил Берроузу автограф Ледбелли, автора этой песни, а потом сам его открыл и заслушался), но и увидел в лице Кобейна ту бледность, что выдавала — тот уже был мертвецом, до своего самострела. Делегации же рок-звезд (от Боуи¹² и Леннона-Маккартни¹³ до The Who и U2, cameo в их клипе Last Night On Earth стало его последняя съемка¹⁴) не переводились. Как и писательских (от Нормана Мейлера до Герарда Реве) и прочих селебрити. В диапазоне от Фуко и Уорхола до Джаггера, с которым не сложилось, Берроуз всячески им манкировал, то не хотел лететь джетом на свадьбу с Бьянкой, то отказывался освещать их тур, Джаггер смертельно обижался и делал следующий заход. У Берроуза же — единственный духовный эгрегор и социальная страта, понятно, — лучше гораздо складывалось с рокерами такими же авангардными и лиминальными, как и он сам. Лу Рид и Лори Андерсон — вот здесь было о чём поговорить и посотрудничать. Как и они, Берроуз более популярный в Европе, чем в Америке, но и по Америке — заработка ради — ездил уже с выступательными турами, как настоящая рок-стар.

Галерея тех, с кем общался Берроуз на протяжении своей долгой жизни, — это вообще отдельная и почти бездонная тема. Узнать можно разное. Почему Берроуз недолюбливал Керуака (тот постоянно сидел с мамой у телевизора, пил пиво и был слишком обывателем, при этом слишком зависимым от различных легальных и нет субстанций), что Боулз вроде бы убил человека (сам рассказывал такое¹⁵). Как Берроуз общался с теми очень немногими, кого считал достойными сам. Бегал, работая приглашенным журналистом (модные журналы полюбили заказывать у него материалы), с Жене от полиции во время жесткого разгона хипповских манифестаций. Или обсуждал с Беккетом свой метод нарезок: «Нет никаких ответов! Наше отчаяние абсолютно! Абсолютно! Мы даже не можем поговорить друг с другом. Вот что я почувствовал в “Голом ланче” и именно поэтому он мне понравился»¹⁶. С Алексом Трокки они общаются на равных, и это круто: и про Трокки материалов вообще очень мало, и «Книга Каина», на мой взгляд, это один из немногих флагов, наравне с берроузовским, что прошлый век водрузил на вершине неконформистского Эвереста.

Открыть можно многое и про самого Берроуза, разумеется же. Так, перечитывая несколько лет назад его книги, я с удивлением — видимо, банально в силу этого застегнутого на все пуговицы имиджа и макабрических тем — увидел, что Берроуз почти сатирик, очень смешной на самом деле писатель. И это активно подтверждается в биографии Майлза. От того, как мило ещё довольно юные Берроуз, Керуак и Гинзберг играли в шарады и разыгрывали мини-спектакли¹⁷, до свидетельств о том, как Берроуз громыхал зловещим хохотом, сидя за своей печатной машинкой (постояльцы соседних номеров пугались). Книги того же Селина были для Старца из Бит-отеля «смешными, полными жизни и являлись очевидным вдохновением для его творчества». А Боулз так отзывался о «Голом завтраке»: «Я обожал её. Я перечитал её три раза. Думаю, с каждым разом я смеялся все больше. Это классика комического жанра». Вот как!

Биограф, как я уже сказал, тактично не заходит в пересказ книг и филологические области (лишь совсем изредка цитирует, например, что книги Берроуза считали и нежными), но в конце делает обязательное подведение итогов — краткий очерк того, чем Берроуз был велик, на кого повлиял и каким первопроходцем был. Это ясно и так. Под конец жизни сам писатель, хоть и падая иногда в колодцы депрессии и переживая уходы вдохновения, был всем доволен, даже, по наблюдению свиты друзей, как-то смягчился и признавал, что он прожил, в принципе, жизнь счастливого человека. Человека, о котором как-то Гинзберг в смятении докладывал Керуаку: «Я сделаю всё необходимое для Билла и для него, всё, что он захочет, но невозможность его требований в конечном счёте неизбежна, если я не позволю ему навсегда увести меня в Азию или куда-нибудь ещё, чтобы удовлетворить его концепцию отчаяния и нужды». А «отчаяние сознания порождает разрушителей порядка»¹⁸, как написал Рауль Ванейгем в 1967 году.

Герметическая инаугурация в Берлине

Владимир В.ВИДЕМАНН. Трансатлантическая история. — СПб.; М.: Rugram_Пальмира, 2023. 476 с.

Владимир Видеманн родился в Таллине, в 1987-м уехал в Колумбию, оттуда в Германию, сейчас осел в Лондоне. Всё это время плотно тусовался. Его двухтомная вольная энциклопедия тех лет «Запрещённый Союз. Хиппи, мистики, диссиденты»¹⁹ даёт примерное представление о том, с кем он общался. Потому что он из тех, кто в пути познакомится со всеми, через них ещё с другими, будет, следуя своей вольной хипповской звезде, идти всё дальше, на новые встречи, вписки и сейшны. Хиппи и мистики, «анархи и хаоты», как он называет тут берлинских тусовщиков, — это его среда. Видеманн — из тех немногих людей, которым не только в детском, но и в солидном возрасте интересно всё. Не знаю про Ленина, от того даже на расстоянии лет мертвечиной несёт, а вот Владимир Видеманн — живее живого, заводнее многих других молодых.

И молодец он вообще большой. Не забыл в тусовочном угаре все свои приключения, не истратил их «в устном народном творчестве» на байки в тёплой

компании, а, бывших журналистов не бывает, записал, сохранил и последовательно издаёт сейчас.

Помотался он по свету, как уже понятно, изрядно, Берроузу под стать. И если предыдущая книга покрывала перелёт и жизнь в Колумбии²⁰, то эта охватывает с 1988 по 1994 год, когда тоже на месте он не сидел. Казалось бы, работает, то есть ищет заработок человек в Германии, без языка, ещё и когда всю Восточную Германию засыпало остатками Берлинской стены и порождённого её крушением хаоса, не так-то и просто. Ан нет, ему и тут на месте не сидится — Берлин и Санкт-Петербург, Нью-Йорк и Москва, а также все промежуточные остановки и вписки.

Берлин же тех лет был похож на Танжер Берроуза, даже круче замес был. Не зря там за десять лет до этого жил и записывал свои лучшие альбомы Боуи и Игги Поп (The Passenger написан от лица пассажира электрички S-Bahn), вдохновлялись амбьянсом города Лу Рид (альбом «Берлин»²¹), U2 (метафора для новой Европы Зоогора нашлась здесь, произошла от названия станции «Цоо», которая и часто фигурирует на карте Видеманна). Мы помним, конечно, и выступление Ника Кейва в клубе Ex-n-Prop, заснятое Вендерсом в фильме «Небо над Берлином», — так Видеманн в этот клуб и ходит постоянно, барышень своих — тоже со всего глобуса, от Америки до Японии, — водит, с друзьями зависает.

Берлин вообще, мне иногда кажется, воспет авангардным роком так же, как блюзами — какая-нибудь корневая Америка.

Берлин бы определенно приглянулся Берроузу — это была такая территория вне закона, живущая по своим правилам, подобно замку Старца горы: «Тут не было ни крупного бизнеса, ни политической элиты, ни вообще чего-либо “нормального” с точки зрения типичного немецкого образа жизни», а в том же Кройцберге в 1950—1980 годы сложилась своеобразная субверсивная культура, интегрировавшая элементы эстетического хиппизма, политического анархизма и мистического нью-эйджа. Половину населения района составляли иностранные мигранты, в основном турецко-арабского происхождения, другую половину — внутренние мигранты с территории ФРГ, искавшие на оккупированной территории с особым политическим статусом свободы от буржуазных банальностей». Совсем как Берроуз, даже странно, что он не доехал и не осел в Берлине. Возможно, сказалось недоверие к европейским столицам, он предпочитал менее исхоженные локусы.

В местных сквотах каждой твари по паре — «от божественных художников до активистов террористического подполья». В коммунах нет никаких правил, кроме своих: «...Стало быть, нужно менять социальную практику: отказаться от личной собственности и частнособственнической психологии в целом, в том числе — в отношении сексуального партнёра».

«Западный Берлин, эта “забытая территория”, был городом-призраком и европейской столицей радикального авангарда: политического, культурного, экзистенциального. Урбан-арт, эстетика распада, руины войны. Баррикады хаотов-анархистов и полицейские фаланги. Туристы и международная богема. Мекка для сексуальных меньшинств и для нежелающих отдавать свое здоровье бундесверу пацифистов. Студенческий рай, cool, жизнь в себе...»

И ровно в таком ключе Видеманн в своем рваном, микшированном, точно в стиле «нарезок» Берроуза — дневник, отрывок из статьи, воспоминания, цепляющие

прицепом ещё байку и ещё, — повествовании и «раскрывает тему», тему отсутствия темы, отсутствия — или ухода от — дискурса истеблишмента, гнёта системы.

Политический авангард? Начиная рассказывать про то, какая из группировок анархистов захватила какое здание для сквота (это было легче лёгкого после объединения Германий, власти ещё не разобрались с вопросами прав на собственность и, в любом случае, решили покамест не прессовать восточных-осси), Видеманн дает очерки политических раскладов. Иногда довольно запутанных. Экзотичных и радикальных — бунты против власти/полиции тут были и без (описанной) RAF, Фракции Красной армии.

Вообще, анархичность и даже хаотичность всего падение Стены только усиливает. Обстановка, как всегда при крушении империй и их больших нарративов, а нам так и очень знакомая, в ностальгическом ключе даже — в перестройку, 90-е, после путчей такое было, один в один. «А точнее говоря, многочисленные мошенники, которые брали в госказне подъёмные средства якобы на осваивание новых восточных территорий, на самом же деле всё клали себе в карман и по-тихому стушёвывались. Многие осси считают, что веси их просто надули...» Присоединились-присосались ко всеобщему разладу и отечественные братки — как же, шанс продать имущество с оставаемых в ГДР советских военных баз, вывезти из почившего СССР всё ценное, что можно продать. «Точно так же Серёжина контора пыталась заниматься недвижимостью, туризмом, продажей современного искусства и пиаром параллельных проектов точно таких же контор». Этническая мафия, русские рестораны и «понаехавшие» в Берлин все, от республик бывшего СССР до Албании.

Культурный авангард? Сколько здесь, в Берлине, а ещё и в Нью-Йорке, и, заездами, в Петербурге и Москве герой (да он сам, что уж там) Видеманна посетил, это нужно специальный указатель в книге приводить и каталог по его мотивам издавать. Шли туда, друзья позвали сюда, плавно перетекали туда и только с рассветом по пустому городу домой возвратились. Мы же просто приблизительно, брызгами красок на холст (Берроуз свои картины стрелял, в буквальном смысле древесину-полотна расстреливал) покажем только. «У Натана на кухне (составляющей часть галереи) собиралась не только русская, но и международная богема. Помимо Курёхина, Пригова, Тарковского, Гребенщикова²² и других асов отечественной контр-культуры (так у автора; у него вообще иногда вольно. — А.Ч.), тут можно было встретить Ребекку Хорн, Хельмута Ньютона и других асов западного художественного авангарда». Тимур Новиков «непременно хотел знать мнение по поводу современного искусства итальянского исламиста-романтика и традиционалиста-эволианца Клаудио Мутти, о котором он прочел в дугинских “Элементах” <...> Меня же он попросил помочь ему привлечь к проекту гипер-традиционалистов типа Гейдара Джемаля и Александра Дугина — идейных лидеров исламских фундаменталистов и новых правых в современной России. <...> Они обнимаются, целуются. Потом выяснилось, что Тимур знает Пакиту ещё с тех времен, когда они с Африкой тусовались у него на Литейном». А, скажем, подруге на протяжении многих страниц и почти невесте²³ Владимира американской художнице Джулии с Гинзбергом приходилось общаться, а их общий друг Стив из Сиэтла дружил с Кобейном²⁴.

В Нью-Йорке же all tomorrow's parties (Лу Рид), арт и просто тусовки, на порядок плотнее — то, от чего, отдав им дань, в своё время сбежал Берроуз ради более плодотворной тишины творчества в Лондоне.

А с экзистенциальным авангардом двухвекторно, скажем так. С одной стороны, здесь множество таких типажей и жизненных зигзагов²⁵, что Довлатов позавидует, — о, а Видеманн прирожденный рассказчик, такой, знаете, настоящий хип, который за бесплатный кров и ночлег до утра хозяина будет байками благодарить, из любой совершенно области, вот и в книге есть все, от даже очерка нигерийского теневого бизнеса (хотел кто-то местный, русско-израильско-немецкий вписаться в) до «голубого писателя Юкио Мисимы, радикального апологета харакири» (японская художница о разном японском делилась). «По соседству, на Петербургер-штрассе, жила французская художница Жюли. В ее квартире не было ни света, ни отопления», а рисовала и боготворила она русского зэка, чей снимок нашла в каком-то журнале. Или русский виолончелист, приехавший в Берлин автостопом, прибившийся в сквот в разрушенном здании у костров, «будущее было неясно».

Но это, да, всё понятно, очень колоритно, забавно, читается (слушается) просто на ура, такая галерея-кунсткамера-музей-перформанс тех лет. Интереснее с другим, с тем, что можно было бы чуть высокопарно назвать экзистенциальным прорывом. Наш автор, во-первых, за тотальную свободу, за и с теми «нашими, с левой резьбой», во-вторых, явно видит «сны о чём-то большем». «Тот, кто хочет оставаться свободным, в метафизическом смысле этого слова, должен уметь психологически отстаивать свою независимость», — заявляет он. Берроуз бы подписался. Как и под именами уважаемых представителей настоящего либертарианства, приводимых для создания контекста: «Сам де Сад, судя по его текстам, был человеком глубоко отъехавшим, но при этом, с коварством адвоката дьявола, он высветил проблематику человеческой морали и общественной солидарности как продукт патологической (в смысле антибиологической, антиприродной) социализации личности. Это вполне созвучно, к примеру, рассуждениям Вильгельма Райха и даже Вальтера Бенъямина. Законопослушный обыватель как клинический маньяк и мания как норма — центральные темы современного критического искусства в его неприкрытой простоте. Раскрепощённая сексуальность — светлое будущее всего человечества?»

Про манию как норму тут, кстати, не для красного словца. Практики попадаютесь весьма радикальные. И речь даже не о том, что «в половине американских штатов до сих пор просто за гомосексуальный контакт человека могут посадить в тюрьму». И не о том же опыте организации Старца горы в ее нынешних импликациях как в преступном мире («Контроль над криминальной организацией требует существенных усилий и наличия определённых психических способностей. Известно, что многие преступные авторитеты усиленно прибегают к наркомагии, то есть к использованию психотропных средств в качестве инструмента целенаправленного изменения собственного или чужого сознания»), так и одиночками-нонконформистами («Впрочем, к наркомагии прибегают не только крёстные отцы и их крестники, но и в целом лица, претендующие на общественное влияние, — как в позитивном, так и в негативном смысле: звёзды культуры, политики, проповедники»). А о том, что чуть ли не смерть воспринимается как часть художественного праксиса, входит в развлекательно-массмедийный дискурс. Так, труп самоубийцы посередине одной модной выставки

зрители были склонны воспринимать поначалу как очередной экспонат, «а один из полицейских сказал, что вполне понимает такую реакцию людей: “Тахелес (арт-кластер в Берлине. — А. Ч.) изнутри настолько чудовищен и необычен, что смерть здесь совершенно естественно принимается за перформанс”». Или такое не менее извращённое явление, что «Над пропастью во ржи» стала «Библией убийц» (её читал не только убийца Леннона Чемпен, но и душевнобольной Джон Хинкли, покушавшийся на Рейгана, и маньяк Роберт Джон Бардо, убивший актрису Ребекку Шеффер). Впрочем, что удивляться, это судьба всех прекрасных книг, возьмём ту же Библию...

Но всё это, конечно же, Видеманну крайне неблизко, он не только за хипповский реасе, хиппи-пацифизм, но ищет там, где искали и обретали веками, — в традиционных областях. Недаром он общается и оставляет разной степени пространности мемуары о Джемале в Москве (Гейдар-ака²⁶) и Аркадии Ровнере²⁷ в Нью-Йорке (звонил в его журнал «Гнозис», познакомились и встречались). «Недаром мои друзья в Москве хорошо знали Аркадия, и образ его, как представителя русского эзотерического андеграунда на Западе, был окутан мистической аурой герметической инаугурации». Несколько за кадром тень Рериха и «нашего старшего друга Владимира Степанова, “суфия-масона” (как называл его Рам²⁸), которого, к сожалению, в этот раз мне повидать не удалось», Блаватская и Далай-лама.

Впрочем, Видеманн сведущ в любой традиции, всё использует (душно на солнышке ждать концерта Pink Floyd? — он особую технику дыхания тут же использует и воспрянет), о любой, кажется, может рассказать-поведать-прогнать, хоть о Каббале, хоть об афрофутуризме и чёрном масонстве. А уж о Гурджиеве сам четвёртый путь велел, понятия из его учения тут — обиходные словечки, принятые внутри тусовки великих посвященных, их собственный аргумент своего рода.

Принимая всё это и свои многочисленные страннические наблюдения за разными странами, рассказчик Владимир суммирует: «Что же мы тут наблюдаем? Во-первых, вопрос о необходимости пересмотра реального авторитета господствующей правовой традиции возник отнюдь не на пустом месте, но как форма поиска современным человеком нового, более универсального измерения своей собственной онтологической ситуации. Верно? А это значит, что вне контекста традиции такой вопрос сам по себе вообще не имеет никакого содержания. Если мы однозначно отбросим традицию, то, тем самым, мы отбросим и те ориентиры, благодаря которым мы пришли к тому, чем являемся в настоящий момент!»

Несколько схоластично, но, безусловно, верно. Впрочем, та эскапада была рассчитана на американских спутников «не в теме» и в баре, а входит он своими размышлениями и в более тонкие и точные материи. «...Краеугольный комплекс фрейдистской психологии — внутренний страх социальной неадекватности. Этот страх заставляет человека чураться всего “странного”». Есть же и такое, диаметрально ему явление, которое Видеманн называет американским нео-экспрессионизмом: «Его цель — не изменение бытия, а его разоблачение. В его оптике мир лишается внутренней устойчивости...» Не так ли работал Берроуз, и не так ли, более тонко, а не лобовой атакой на полицейский кордон, и стоит действовать?

Влияние кофе на время

Сухбат АФЛАТУНИ. Катехон. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2024. 605 с.

Сказано: «Трудно уснуть, когда ложе
сплетено из гадюк, а подушка соткана из огня».

Ибн аль-Мукаффа. Калила и Димна

Полицейские же кордоны в будущем будут повсеместнее, изощреннее. Они в прямом смысле слова заберутся в голову человека — так будут следить, собирать доказательную базу, а потом ещё проводить обыск в воспоминаниях. Сыщики внедрятся в мозг, вживутся в чужую жизнь. И обвиненного — главного героя Сожжённого (настоящее имя Фархад, а вообще потом пристанет к нему много имён) — сожгут. В буквальном смысле, на городской площади, с восстановлением всех средневековых карнавальных церемониалов. Но в новом духе, гуманном — сделают перед кострищем укольчик, подержат зонт, когда заморосит. А распоряжаться всем будет прибывший из Брюсселя Инквизитор. Он получил повышение, перешел на эту должность из комитета по правам человека.

Но всё это ох как неточно. Потому что гораздо больше, чем из такой фактологии, роман скроен из тех воспоминаний, в которых тонут с головой и сердцем безучастные сыщики (а уж что говорить об их непосредственных участниках), ещё не дотлевших чувств, снов. Того, что, по Э.Э.Каммингсу, глубже слёз. И того, как всё это перетекает друг в друга, растворяется как дым, как его отличить и от воздуха отделить?

А ещё добавить странствия не только ментальные, в голове, комнате и на письме, а настоящие. Германия, где живёт возлюбленная Сожжённого переводчица²⁹ Анна, СССР времен его истончения и истления, куда она едет, Самарканд, откуда Фархад не желает уезжать, и они оседают, до всё же самолета в Германию, с остановкой в Грузии и Турции.

Условно поданное будущее (настоящее? уже прошлое для героев? тут точных указателей тоже нет) и — черты времени. Реальность, созданная героями, и реальность вокруг. Детали метафизические и самые настоящие обрушатся, как то сияние вниз³⁰. Германия, где приехавших из Союза селят в общежитии, там и поругаться-то нормально, по-советски, нельзя, настучат соседи, и оштрафуют. И то, откуда уехали, — хрущёвки и в них засолка капусты (придавить камнем крышку). Всё это обрушается. Люди оказываются выставлены в разбитых витринах эпохи. «Манекены для всей необъятной страны изготавливались в Вильнюсе, Литовская ССР, и они смахивали на литовцев. У манекенов-женщин были серые змеиные глаза. От вида местной продукции, в которую их наряжали, на их лицах проступала брезгливая улыбка».

Такой, как говорится, сеттинг — детали времени, их условность, мечты и любовная история героев — может напомнить хиты недавних лет, «Авиатор» Водолазкина, «Грифоны охраняют лиру» Соболева и прочие стилизации той или иной степени изысканности (и инварианты некогда популярного жанра альтернативной

истории). Но стилизация ради стилизации и конструкт имени самого себя — дело милое, но довольно мертворожденное. У Сухбата Афлатуни, автора «Поклонения волхвов», лауреата «Русской премии», финалиста «Большой книги», «Ясной поляны», «Русского Букера» и, не очень большую тайну мы откроем, прозаика, поэта, философа и критика из Узбекистана Евгения Абдуллаева, всё сложнее гораздо и сложносочинённой. (И я бы если уж сравнивал, то сравнил бы с книгами Питера Хёга — у современного датского сказочника тоже всё переплетено, от тайных нейропсихологических экспериментов государства до исихазма. Но сравнения — практика тоже мертворожденная, так что оставим.)

Хотя бы потому, что Фархад, экскурсовод, природный и партикулярный теоретик и визионер, озабочен этим самым катехоном, тем, что удержит мир на краю, сохранит. Это открылось ему в его видениях-рассуждениях? В которых, в частности, он, в давней своей статье на своем сайтике в глубине становящегося Рунета, предсказал теракт 11 сентября. Тогда-то им и заинтересовались спецслужбисты. Связей с террористами и иной крамолы не обнаружили, сайт удалили, взяли на карандаш и в разработку. Так, в той же Германии инвалид Сожжённый заработал немного серьёзных денег тем, кого сейчас называют футурологом (позже предсказав «охватившую мир пандемию, назвав ее “китайской болезнью” и угадав симптомы. <...> Он предсказал с точностью почти до дня начало Долгой войны. Он предсказал... Это, наконец, переполнило чашу терпения тех, кто до того за его предсказаниями просто молча следил. И даже пользовался ими. Из чаши потекло на стол»). Но на этом очень впроброс фактическая и дистопическая линия обрывается, неважно это.

«Человечество училось писать на песке. Порыв сетевого ветра — и песок снова пуст и гладок». Это про его личную страничку, на которую только несколько любителей случайно вывело и которую только постфактум-то и вспомнили. Но это показательно. Потому что даже стиль подчеркивает относительность всего и вся, реальности ли, не так добравшихся до адресата воспоминаний ли. «Здесь можно нажать “энтер” или даже несколько “энтеров”. Можно начать новую главу, поставив “25”. Или “26”. “30”. Какая разница?» Кавычки в цитате добавляют условности-отстранённости, заметим. Да заметили мы это и раньше уже, как не. «Собственно, музыка и есть ересь — просто лишённая слов. Здесь должна стоять звёздочка. Сноска, отсылающая вниз, на дно этой страницы. Но страница пока ещё не заполнена»; «Над одним из минаретов он разглядел * <звёздочка. — Прим. ред.>»; «...Звонок в полседьмого. Чего-то... Утра»; «Здесь должна была быть небольшая глава о Фаусте, о его пребывании в славном городе Эрфурте. О его необычных лекциях и ещё более странных пирах». Но главы нет, и всё это напоминает куртуазные стилистические игры блестящего и сокрытого стилиста Владимира Казакова.

«Но море молчало. На песке подсыхала медуза, мусор, обломки раковин. Они жадно и напряжённо ждали прихода Антихриста. Пока не придёт Антихрист, не придет Христос». Так могли ждать чего-то в своём нигде герои ещё одного прекрасного стилиста, увы, недавно умершего, ферганца Шамшада Абдуллаева.

«В тот год она родилась; родилась и заплакала, как все новорождённые, вносящие за вход в этот мир пошлину из слёз». А потом, скорее всего, заснула. «Сон подобен храму, растущему вниз».

Едва ли не чаще, чем блеск стилистических излучений, в книге тихий стиль — стиль притчи. «И тогда они говорят ему, показывая направо, на подсыхающую землю в чёрных лужах: “Где та река из твоих слёз, семени и слюны, из твоего пота и той воды, которой ты поливал засохшие цветы, надеясь их оживить?”»

На всё это распадается — и собирается — роман. А как ещё, если таков, заснятый в падении, сам мир? Его нужно поймать, удержать, хотя бы на место падения подстелить что-то, хоть старую циновку, хоть убитый коврик, чтобы смягчить (грехо)падение из сада-рая.

Герой пристально всматривается в этот трагический мир, где даже «Бог есть боль». «Хронотоки чуть сдвинулись — и снова замерли. Нет, видеть их он не мог. Тот, кто видел хотя бы часть хронотока, внутренне бы ослеп. Продолжал бы жить с ослепшим, шарящим в темноте мозгом. Он видел их как бы сквозь задымлённое стекло». Он созерцает и видит — «Его рот ел курицу... Его глаза ели длинные облака... Его ладони ели подлокотники кресла».

Для подобного видения нужно войти, хотя бы примириться с двумя составляющими мироздания — пространством и временем. «Кант считал пространство и время формами нашего восприятия. Формами того, как наш мозг отражает реальность. Я говорю о другом. Мозг не просто отражает их — он их генерирует. Он создает время и проецирует его вовне». «Его занимал вопрос о соотношении индивидуального времени и коллективного. Гипотеза состояла в том, что ускорение первого может странным образом замедлить второе». А «через несколько лет он узнает, что это открытие уже было сделано до него. Влияние кофе на время открыли суфии. Те самые кружащиеся суфии³¹». Хотя и это не точно, ведь «здесь, в Туране, всё движется по кругу, даже кофе пить не нужно. Время вращается на месте, как одинокий суфий». Кружится, замедлясь или ускоряясь, произвольно или следуя иным, ещё более глубоким, сложным и неподвластным человеческому уму законам. «Мы могли прибыть в Веймар... в Веймар! Но — старцами. Или детьми».

У героя, Сожжённого Фархада, опухоль мозга, я уже говорил об этом? Забыл? Ну вот сказал. Так что, вполне возможно, это все видения, ведь опухоль выкусывает куски мозга, а потом вырезают в свою очередь её саму. Как в той легенде о змеях, растущих из головы правителя, чтобы они не съели мозг своего владельца, их нужно кормить чужим мозгом, казнимых юношей. Это сказание актуализировано в романе Владимира Медведева «Заххок»³² — в политическом ключе (всякая власть пожирает то, что призвана охранять и пестовать)³³, здесь же — в видийном, прозорливо-пророческом, уже понятное дело. Визионеру приходится платить за открытое ему — и вот он спит на подушке из змей, сутками в тёмной комнате.

Все эти техники и откровения нужны, разумеется, не для предсказаний терактов (тяжело так говорить, но они не причина, а следствие хаоса) и чего-то практического, чего от него ждут те же спецслужбы и какой-то закрытый клуб, делающий ставки на будущее. А ради — того самого катехона. «Главное — услышать Бога... А не заставить его услышать нас, не кричать ему, как это в вашей вере. Не забегать перед ним, не дёргать за край одежды». А следовать ему, гласу среди миров пространств и времён. Отринуть шум близкий времени, чтобы услышать то, что за ним. Вообще «нужно выйти из времени. Ты же сам сказал: катехон. Вращение мира против движения солнца,

против часовой стрелки. И ритуальный обход вокруг Каабы совершается тоже против часовой стрелки, тоже бегом. Чтобы выйти из времени, нужно приложить немалые силы. Находясь во времени, ты не сможешь услышать Бога, ты будешь слышать только себя». А «кто прильнёт к Богу, к тому прильнёт Бог. И что ты прежде искал, то ищешь ныне тебя».

Сожжённый же нашёл то, что искал. То есть свою вечную — ещё одна плата, ещё одна инициация? — возлюбленную Анну потерял, она умерла. Но выжил (три операции) и даже сбежал. В осуществление своей мечты — уйти от всех в пустыню (от всех не получается, он даже обрёл против своей воли какую-то популярность и поклонников, те приезжают иногда, он общается с ними на языке молчания), в пустошь за-под Самаркандом, разбить там в песках сад. Сад, посаженный и взращённый на пепле — его Анны, его деревьев, которые сжигают приезжие-местные, его слов и жизни. «Он стал человеком сада. Сада и молитвы».

А кто всё же этот человек? Известно, что «суфием может оказаться ваш сосед, человек, живущий напротив вас, или ваша служанка: суфии могут быть богатыми или бедными, иногда они становятся затворниками» (и, кстати, могут они быть и обеспеченными, поскольку «суфий же убеждён, что его внешние достижения — результат внутреннего понимания и развития. Деньги могут быть внешним отражением его успехов, но важность их нельзя сравнивать с важностью суфийского опыта») ³⁴, ведь «суфийская практика слишком тонка, чтобы иметь формальное начало», как говорится в трактате «Тайны прошлого и будущего». А про Сухбата Афлатуни мы знаем, что ему давно совсем не чужды подобные темы — так, лишь один пример, одним из ключевых героев его повести «Глиняные буквы, плывущие яблоки» был дервиш. Итак. Про суфиев сказано также, что те спят во время «событий дня» подобно летучей мыши — так Фархад проспал все экскурсии и походы Анны, оставаясь с мигренью в комнате на своем изголовье из змей. И ему открывалось во время этих снов, как и им: «Суфийские старцы могли ходить по воде (похожий трюк с (не)самоутоплением делает и Фархад после своего аутодафе. — А.Ч.), рассказывать о событиях, происходящих одновременно в разных странах, жить истинно реальной жизнью и многое, многое другое» ³⁵. Действительно, «обострённое восприятие, которым обладает суфий, иногда помогает воспринимать вещи, совершенно не воспринимаемые другими» ³⁶. Неудивительно, что и со временем у них отношения складываются иначе, чем у других: и «формалистические идеи о времени и пространстве могут быть неприменимы по отношению к истинной реальности» ³⁷, и по свидетельствам ещё Аттар, великий посвященный, писатель и деятель суфийского движения, изобрёл специальное упражнение, останавливающее время. Главное же, суфии возделывали «тайный сад» своего познания, приближения к божественному. Был ли Фархад ³⁸ скрытым имамом Махди, тем, кто явится в конце, как Христос Пантократор, как Майтрея, будда будущего, как авестийский Саошьянт ³⁹, чтобы спасти этот мир после его конца и сопроводить в Джаннат, прекрасный сад для праведников? Вряд ли, в конце концов, у суфиев нет главных и вообще иерархии. Но во все времена было понятие сотворения мира заново, восстановления разрушенного в обновленном, преображенном контуре. Тут можно вспомнить целую идейную цепочку: зороастрийский Фрашокард, *renovatio mundi*, пакибытие христиан, алхимическое возрождение элементарей в стадии альбеда Великого Делания, палингенезис (от Парацельса до Шопенгауэра и политических

теорий модерна)... Самым ярким и универсальным символом этого понятия выступает, конечно же, феникс. Не намекает ли на этот контекст сама фигура Сожжённого — ещё в начале романа — и функционирующего на всём его протяжении? Тоже вряд ли, но смысловые контуры, возможно, и задаёт, в подтексте и подкорке учитывается. Сам же Фархад, скорее всего, был никем (его же и сожгли), безымянным праведником⁴⁰, ведь только в полной безымянности, тишине и самоуничтожении можно хоть как-то удержать этот мир от распада⁴¹.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Отменил там законы шариата, при этом запретил все предметы роскоши, тем самым нивелировав богатство и бедность. Его последователи по приказу старца возводили неприступные крепости и скупали везде редкие книги. Попасть «во врата иной жизни» замка могли лишь избранные, проведя перед тем несколько дней в голоде и холоде на пороге, как в дзэнское обучение или в ряды Бойцовского клуба. Жить в такой коммуне-утопии, арабском военизированном («Рай покоится в тени сабель») фаланстере Фиуме Берроузу бы определенно понравилось. Правда, аскеза Берроуза иногда подводила — он любил хорошо поесть, особенно чёрную икру.

² Появилась даже и русскоязычная. *Хаустов Д.* Берроуз, который взорвался. Бит-поколение, постмодернизм, киберпанк и другие осколки. — М.: Individuum, 2020. Но, к сожалению, из-за явно компилятивного фактологического характера, поверхностного анализа и довольно вычурного языка даже в полуфинал с предлагаемой работой её ставить нельзя.

³ А ещё терпимыми (вращаясь по делам бизнеса в кругах арт-дилеров, дружили с частыми в этой среде геями) и терпеливыми (с сыном).

⁴ Даже из такой экзотики, как попадание в латиноамериканские застенки — голым, с температурой за 40, его кинули на каменный пол в каземат. Впрочем, за какие-то увиденные местными официальными порядками в документах, тут же почти и освободили.

⁵ *Ванейгем Р.* Революция повседневной жизни. Трактат об умении жить для молодых поколений / Пер. с фр. Э.Саттарова. — М.: Гилея, 2005. С. 121.

⁶ Есть и такие обертоны: «Сегодня я вновь чувствую восхищение, которое испытывал в юности перед преступниками — но это не устаревший романтизм, а восхищение, вызванное тем, что благодаря преступникам разоблачаются те алиби, которыми прикрывается социальная власть, чтобы не быть свергнутой прямо на месте. Иерархическая социальная организация напоминает гигантский рэкет...» *Ванейгем Р.* Там же. С. 18. А французский поэт-анархист Эрнест Кёрдеруа называл преступление бунтом одиночки.

⁷ «В Танжере существовала свобода от налогов, свобода обмена мировых валют, не было таможенных пошлин на транзитные товары, и каждый мог торговать золотом или открыть компанию и торговать, не раскрывая себя. Для въезда не требовалось визы, и можно было оставаться здесь сколько угодно». Рай для противника какого-либо контроля и надзора потом постепенно, конечно, прикрутили-закрыли.

⁸ Впервые это отметили Керуак и Гинзберг еще в 1944-м, сравнив Берроуза с Шерлоком Холмсом. «...Орлиное лицо, тонкие губы, высокая, стройная фигура, долгое молчание. Они оба употребляли кокаин, оба всегда ходили с оружием, оба носили с собой стреляющую дубинку, оба вели обширные альбомы. Оба были мастерами маскировки и невосприимчивы (почти) к женским чарам. У обоих были свои ватсоны...» Затем англомания Берроуза — старомодные манеры, английские сигареты и даже подставки для яиц на завтрак — тенденцию усилила.

⁹ Примерно как сейчас люди всю общаются с ИИ, проводя досужее время и пытаясь делать бизнес в ChatGPT.

¹⁰ А немного раньше за магическими откровениями Арто рвался в Ирландию. В Латинской Америке с теми же целями, что и наш герой, он тоже побывал.

¹¹ Там Берроуз впервые женился — на еврейке, чтобы вывезти её в Америку и тем самым спасти от надвигающейся коричневой чумы.

¹² Боуи не только использовал технику нарезки, но и признавался, что на образы Зигги Стардаста и Пауков с Марса его вдохновили Берроуз и «Заводной апельсин» Кубрика-Бёрджесса.

¹³ Общались они недолго и неплотно, но в пантеон на обложке Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Берроуз тем не менее попал.

¹⁴ А вот сыграть роль распятого старика в нирвановском клипе Heart-Shaped Box Берроуз отказался — очень жаль.

¹⁵ Да и вообще они, хоть и сошлись не сразу, были во многом похожи: «Они оба бежали из Америки, где они не могли жить свободно и о которой они оба отзывались пренебрежительно. Они оба стали писателями во второй половине жизни...»

¹⁶ С Беккетом они обсуждали тот факт, что Берроуз для своих нарезок берет классиков, даже новых и даже Элиота. Возможно, в этом им двигал отчасти и следующий мотив: «Идеология — это ложь языка; радикальная теория — это правда языка; конфликт между ними, будучи конфликтом между человеком и тайной бесчеловечностью в нём самом, предшествует преобразованию мира в человеческую реальность, так же как и его трансмутации в метафизическую реальность. Всё, что люди делают и ломают, проходит через посредничество языка. Семантическая сфера является основным полем битвы, в которой противостоят друг другу воля к жизни и дух покорности. Это неравный конфликт. Слова служат власти лучше, чем их используют люди; они служат ей вернее, чем большая часть людей, тщательнее, чем прочие виды посредничества (пространство, время, техника...)». *Ванейгем Р.* Там же. С. 97.

¹⁷ А ещё умел хорошо танцевать танго, вальс и фокстрот — «издержки» воспитания в гнезде американских великосветских помещиков новых времён.

¹⁸ *Ванейгем Р.* Там же. С. 41.

¹⁹ См.: *Чанцев А.* Самадхи в ватнике: Две книги о мистиках и неформалах // Перемены. 2019. 19 июля (<https://www.peremeny.ru/blog/23847>).

²⁰ См.: *Чанцев А.* Мистический глобус // Учительская газета. 2021. 6 июля (<https://ug.ru/misticheskij-globus/>).

²¹ Для справедливости отметим, что Лу Рид в Берлине не жил, Боуи бытовал в конце 70-х, с Кейвом Видеманн чуть разминулся, а вот Боно сотоварищи мог и встретить где-нибудь на улицах. Странно, что не встретил, он же встречает всех, вот только прилетел в Нью-Йорк, посетил место убийства Леннона и Strawberry Fields в Центральном парке, так Йоко Оно с японскими телевизионщиками встретил. А потом в Берлине её же со своей японской гёрлфренд. Договорились о совместном проекте. Везёт.

²² Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

²³ Впрочем, из-за её ветрености и поисков себя герой разнообразно страдает, точь-в-точь как Эдичка в Нью-Йорке.

²⁴ Хотя, подозреваю, все жители Череповца дружили с Башлачёвым, Омска — с Летовым и т.п.

²⁵ Только чаще не с алкогольным, а мистическо-нонконформистско-криминальным вектором: «Поскольку историю с отсидкой скрыть было невозможно, Леонид честно рассказал хозяину о том, что воровал и как пересмотрел свои взгляды на вещи благодаря розенкрейцеровскому учению о перманентном совершенствовании человека».

²⁶ Ака — уважительное обращение к собеседнику старше по возрасту /статусу. Любопытный момент. По-таджикски «ака» произносится как «ако». Джемаль и круги, где он вращался по этой теме, воспевали именно девственный таджикский народ (скорее даже памирскую его часть), а не узбеков-тюрков, происходивших от «варваров»-кочевников, но при этом всё равно употребляли, как видим, тюркскую фонетическую норму. Не было ли в этом подспудной приверженности традиции пантюркизма? Сам Джемаль, однако же, считал основой панисламизма

именно Османскую империю, а пантюркизм называл атеистической национал-социалистической идеологией. О его отношении к пантюркизму и панисламизму см. дискуссию: Панисламизм: иллюзия или неизбежность? // Независимая газета. 2004. 21 июля (https://www.ng.ru/problems/2004-07-21/6_politx.html).

²⁷ О Ровнере см. предпоследний выпуск рубрики: <https://magazines.gorky.media/druzhba/2024/12/za.html>.

²⁸ Рам Михаэль Тамм, мистический философ, один из первых йогов в СССР, духовный учитель Видеманна.

²⁹ «Тоже вымирающая профессия: скоро всё будет переводить машина. Стиль — пережиток эпохи модерна; несёт печать неравенства, фаллоцентризма и угнетения». В «мировом одиночестве победившей либеральной идеи. Которой больше не с кем спорить, не с кем и не за что бороться».

³⁰ Парафраз из песни Егора Летова.

³¹ Согласно Идрису Шаху, вообще впервые открыли: «Кофе, который мы с вами пьём, согласно традиции впервые стали употреблять суфии для большей ясности сознания». *Шах И.* Суфии / Пер. с англ. Н. Богомоловой. Харьков: Прогресс, 1993. С. 65.

³² О книгах Медведева, Абдуллаева и других ведущих писателей региона (или о регионе, потому что некоторые из авторов уже давно перебрались в Москву) см.: Чанцев А. Среднеазиатский вектор // Новый мир. 2017. № 8 (https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2017/8/sredneaziatskij-vektor.html?).

³³ Здесь — через отрицание — обыгрывается и эта тема. Ведь катехон в изначальной трактовке — это тот правитель и государство, что удерживает и охраняет. В книге же речь о более фундаментальном, не политическом, но бытийном сохранении мира «над пропастью во ржи». Геополитическая тема, впрочем, не полностью элиминирована, она возникает иногда («Но Третий Рим остался. Москва стоит и дышит. Ходит, гоняя подземный ветер, метро», фараоны, «строящие вечность» в виде пирамид и «Рос-странство», «е-время» и «по России странство»), но разговор о ней увёл бы нас в те области, которым я предпочитаю другие. Да и в книге герой «уже тогда понял, что история — всего лишь мелкие волны на поверхности тяжёлых, бездонных вод. Даже не волны — рябь». А так-то в книге, как и у Видеманна, как у Берроуза, очень много всего: Гегель и Гёльдерлин, Ницше и Реставрация Мэйдзи.

³⁴ *Шах И.* Там же. С. 38, 66—67.

³⁵ Там же. С. 37.

³⁶ Там же. С. 75.

³⁷ Там же. С. 86.

³⁸ Здесь можно, наконец-то, вспомнить и привести значение имени Фархада (благо сам Сухбат Афлатуни, чье имя переводится с узбекского как Диалоги Платона, языковой семантике явно отдает дань): Фарр по-арабски — божественная благодать, которая осеняет только представителей царского дома, а хади — указующий путь к истине. В эпосе Навои «Фархад и Ширин»:

Хакан подумал: «В этом смысл найди:
Блеск — это “фарр”, а знак судьбы — “хади”». —
Так имя сыну дал хакан: Фархад...
Нет, не хакан, — иные говорят,
Сама любовь так нарекла его,
Души его постигнув естество.
Не два понадобилось слова ей, —
Пять слов служило тут основой ей:
«Фирак» — разлука. «Ах» — стонаний звук,
«Рашк» — ревность, корень самых горьких мук,
«Хаджр» — расставанье. «Дард» — печали яд.
Сложи пять первых букв, прочтешь: «Фархад».

Как мы видим, все эти значения нашли отражение в судьбе Фархада, не совсем удавшегося вероучителя и несчастливов влюблённого, пережившего расставание с Анной (да и эпизод её измены). Еще интереснее, что в сюжете Навои также фигурирует футурология своего рода. Фархад находит в сокровищнице отца в Китае волшебное зеркало, предрекающее будущее. Чтобы оно заработало, нужно пройти инициацию — драконы и проч., причем в землях греческих под надзором самого Сократа. В зеркале Фархад увидит небесный сад и лицо неземной красоты и потеряет покой, которого у него, впрочем, никогда и не было. Это лицо (армянской национальности, кстати, оценим размах логистики притязаний и международность, как у всех героев нашей рубрики) Ширин скорее эманация божественной благодати, нежели живая девушка, почти Грааль, сулящий алхимический брак вернее, нежели обычные отношения.

³⁹ Когда мёртвые воскреснут для последнего суда — огненной ордалии. За плечами Сожжённого же инквизиторский костёр, настоящая ордалия местного значения.

⁴⁰ Владимир Видеманн так описывает этот типаж в одной из своих книг: «...Некто вроде Хизра в Средней Азии: бессмертный пророк, персонаж фольклорной передачи, скрытый святой, наблюдающий за поведением людей. Это йог, аскет и волшебник, владеющий тайными знаниями и многочисленными науками». *Видеманн В.* Тайна чёрного мурти, или У истоков адвайты: Индийская мистическая философия в практическом ключе. М.; СПб.: Т8 Издательские технологии, Пальмира, 2024. С. 238.

⁴¹ Я молю как о Причастии —

Удержи мою плоть от распада, восставь мою кровь,

Будь мне спасением, всё в твоей власти,

Так влей в эти мёртвые руки живую любовь!

С.Калугин, «Ночь защиты»

Евгений Абдуллаев

Кто сегодня знаменитый?

На книжном базаре, когда торговали писатели, над каждым киоском была вывешена табличка: здесь продает книги такой-то.

В. подслушала разговор двух барышень:

— Давай пойдем посмотрим на Эйхенбаума.

— Не стоит, он, кажется, не очень знаменитый.

Лидия Гинзбург, запись 1928 года

Что сегодня делает литератора известным?

То же, что и прежде: соединение *трёх* типов известности.

Первый — цеховое признание. Второй — востребованность книжным (и шире — медийным) рынком. И третий — вовлеченность в какие-либо политические проекты.

Три этих типа могут частично не совпадать и даже конфликтовать друг с другом. Один тип может какое-то время преобладать. Но для широкой известности требуется сочетание всех трёх. Чтобы тебя знали и *свои* (коллеги-литераторы), и *не-свои* (активные читатели), и *чужие* (не-читатели).

Если автор обладает только цеховым признанием (печатается в литературных журналах, участвует в литературных фестивалях, преподаёт на литературных курсах), — это случай «широкой известности в узких кругах». Автор для авторов. Да и литературский цех внутри неоднороден, и признание в одном его сегменте часто сочетается с непризнанием в другом, с безразличием в третьем, с безвестностью в четвертом.

Книжный рынок действует по другой логике, и механизмы известности здесь другие. Рынок может принимать в расчет репутацию автора внутри цеха, а может — и не принимать, и создавать «литературное имя» самостоятельно. Если литературное сообщество ослаблено (раздроблено и недофинансировано), книжный рынок способен даже навязывать ему своих фаворитов. И оно будет их признавать; по крайней мере, какая-то его часть. Если, конечно, те хотя бы что-то собой представляют.

Наконец, общественная, политическая востребованность писателей. Отдельными группами, сообществами, партиями, институтами власти.

Повторюсь — это три очень разных типа известности.

Известность внутри литературного цеха основана на том, как автор *пишет*; насколько он полезен литературе и её институтам.

Известность внутри книжного (и медийного) рынка — на том, как автор *покупается*; насколько он полезен издательскому бизнесу.

Известность внутри политического поля — на том, как автора можно *использовать* в социальных и/или политических проектах; насколько он может быть полезен политикам.

Как говорит Сталин в «Детях Арбата»: «Маяковский — способный человек, его стихами надо пользоваться, но это уже скорее политика».

Фраза, разумеется, придуманная — но точная.

Наиболее важным всегда предполагалось признание внутри литературного цеха. Наиболее надежным, наименее подверженным рыночной и политической конъюнктурам. «И славен буду я, доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит».

Не книгопродавец, не государственный муж, а — пиит.

Стоит ли вообще стремиться к признанию за пределами цеха? Не слишком ли большую цену за это признание («рыночное» и «политическое») придется заплатить? Репутационную, моральную, творческую... Это уже вопрос личного выбора.

Последние лет сорок можно условно разделить на три периода.

Вторая половина 80-х — начало 2000-х, когда известным автора делало, прежде всего, внутрицеховое признание. С середины 2000-х до начала 2020-х, когда всё большее влияние на это начал оказывать книжный рынок. И период с начала 2020-х, когда известность становится всё более политически мотивированной.

Деление огрубленное. Но без огрубления невозможно ни одно обобщение.

Эта смена периодов наиболее отчетливо видна на истории премиального процесса, крупнейших российских премий.

«Русский Букер», возникший в 1991 году, был премией преимущественно «цеховой». В его жюри, в отличие от его британского первоисточника, никогда не входили издатели. И лет десять «Русский Букер» оставался наиболее крупной и влиятельной премией, а его лауреаты оказывались в центре медийного внимания.

В начале 2000-х ситуация меняется. Развивается и набирает силу российский книжный рынок. Что и отражают две премии, «Национальный бестселлер» и «Большая книга», возникшие, соответственно, в 2001-м и в 2005-м. «Нацбест» был создан издателями, и среди номинаторов и членов жюри также присутствовали издатели. «Большая книга» отчасти воспроизводила «цеховой» характер «Русского Букера»: издатели не входят в Экспертный совет, формирующий длинный и короткий списки, но присутствуют в жюри (чего не было в «Букере»).

Наконец, в прошлом году возникает премия «Слово», о которой я уже писал («ДН», 2025, № 2). Финансируемая напрямую государством и стремящаяся быть как можно более государственной, даже на уровне риторики. «Национальная премия “Слово”», — сообщается на сайте премии, — это... стимул к созданию произведений, в основе которых лежит любовь к родной земле, духовно-нравственные ценности...»

Для «Букера» была более важна эстетическая ценность произведения («цеховой» критерий). Для «Нацбеста» — ценность и перспективность автора для книжного рынка; отсюда «нацбестовский» девиз: «Проснуться знаменитым». Что касается «Слова», то это, прежде всего, соответствие и произведения, и автора «государственному заказу» (как он руководством премии понимается).

Другой вопрос, как вообще сегодня премии, даже самые крупные, влияют на известность автора. И вообще — что сегодня на нее влияет?

Здесь, конечно, требуются ещё какие-то социологические исследования, опросы.

Последний, тематический, проводился ВЦИОМом в 2021 году; ещё *до всего*. Картина сонного царства. Треть опрошенных вообще ни одной книги за год не прочла, почти половина (44%) — не более пяти книг (вопрос ещё — каких). Только четверть прочла пять или более книг.

Ну и, соответственно, предпочтения.

«Самые популярные писатели среди россиян — Дарья Донцова (5%), Борис Акунин* (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%). Топ наиболее популярных писателей совпадает для всех трёх групп читателей, при этом пять наиболее популярных авторов чаще упоминались в ответах «нечитателей» (Донцова — 7%, Акунин* — 6%, Прилепин — 5%, Пелевин — 7%, Устинова — 4%)».

То есть «большие имена» легче называли именно те респонденты, которые ни одной книги за год не прочли. И, наоборот, те, которые осилили хотя бы пять книжек (и больше) «чаще других называли авторов, которые не набрали 1% ответов»¹.

В целом, если смотреть на данные ежегодных опросов, то с середины нулевых и до начала 2020-х картина была аналогичной. Рейтинг «писателей года» возглавляла Дарья Донцова, рядом оказывался либо кто-то из ее коллег-детективщиков, либо из классиков (Пушкин, например)². Неуклонно снижались только проценты — по мере снижения чтения художественной литературы.

Это особенно заметно при сравнении с самым первым из «вциомовских» опросов, 2006 года. Четверку самых известных авторов заняли тогда детективщики: Дарья Донцова (31% опрошенных именно её назвали «писателем года»), Борис Акунин* (16%), Александра Маринина и Татьяна Устинова (по 13%). 4% назвали Солженицына, по 3% — Виктора Пелевина и Михаила Веллера³.

Тут интересно даже не кого называли, — а сколько респондентов могли назвать кого-то писателем года. Сравните 31 процент или даже 16 или 13 с теми процентами, которые набирают «самые популярные» в 2020-е.

И другой момент, тоже важный. Опросы очень четко показывают определяющее влияние именно книжного рынка на известность того или иного имени. Донцова, Акунин*, Устинова — это лучше всего продаваемые авторы. Влияния первого фактора известности, внутрицехового признания, по этим спискам не прослеживается. Даже Сорокин в них не вошел.

Впрочем, Сорокин, как и «вошедший» Пелевин, — это тоже больше про книжный рынок, чем про цеховое признание. Пелевин получил первую известность внутри литературного цеха после публикации в «Знамени» (хотя невключение «Чапаева и Пустоты» в длинный список «цехового» «Букера» было показательным), но очень быстро стал востребован книжной индустрией. Сорокин вообще был

* Включен Минюстом в список иностранных агентов.

¹ ВЦИОМ представляет данные о том, сколько россияне читают и какими видят современных отечественных писателей // Сайт «ВЦИОМ». 9 июня 2021 г. (URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/russkii-pisatel-glazami-chitatelei>).

² ВЦИОМ представляет результаты опроса о главных персонах минувшего года — политиках, спортсменах и писателях // 11 января 2023 г. (URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/persony-2022-politiki-sportsmeny-pisateli>).

³ Люди года: Путин, Плющенко, Полишук // Сайт «ВЦИОМ». 26 декабря 2006 г. (URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/lyudi-goda-putin-plyushhenko-polishhuk>).

вначале признан западными славистами, чье влияние в 90-е было значительным; и тоже с конца 90-х стал широко издаваться и продвигаться книгоиздателями.

Данные ВЦИОМа вполне согласуются и с той статистикой, которую ежегодно публикует на своем сайте Книжная палата. «Двадцать наиболее издаваемых авторов по художественной литературе». По количеству тиражей из современных русских писателей последние пять лет лидирует, опять же, Дарья Донцова, затем Маринина (2020) или Устинова (2021, 2022), затем (до 2023 года) Акунин, и, наконец, Пелевин. Пару раз, в 2021 и 2024 годах, на предпоследней позиции возник Аркадий Стругацкий.

Такая статистика. Не слишком для любителей серьезной прозы радостная, но в целом понятная. Выше известность — выше тиражи, выше тиражи — выше известность.

Но в одном пункте тут заметно расхождение.

Начиная с 2021 года «писателем года» по данным опросов ВЦИОМ оказывается Захар Прилепин (2022, 2024 — 4%); другие авторы не могут набрать в ответах респондентов даже такие проценты¹. При этом в число «двадцатки» наиболее издаваемых авторов Прилепин не входит (хотя тоже издается, и немало).

Случай Прилепина, конечно, особый и требующий отдельного разговора. Тут он интересен тем, что отражает смену парадигмы, о которой говорилось выше. Что с начала 2020-х писательская известность становится всё более мотивированной *политически* и менее напрямую связанной с книжным рынком.

Вообще, заметно, как логика книжного рынка начинает не совпадать с политическим «духом времени», тон в котором все больше задают правоконсервативные силы. От призывов возродить советскую систему государственного книгоиздания и эксгумировать «Художественную литературу» — до... Даже затрудняюсь сказать чего: каждую неделю что-то новое, не соскучишься.

Вот недавний случай. Если прежде стрелы метались в основном в «Эксмо-АСТ» и несколько независимых книжных магазинов, то в конце марта «рвануло» внутри самого правоконсервативного лагеря. Под обстрелом оказалось «Евразийское книжное агентство», точнее, его редактор Вадим Левенталь. Поводом стал выход романа Максима Кантора «Сторож брата». Последовали потоки обвинений, запрет на презентацию романа в Питере... При том что Левенталь, по крайней мере, с начала десятых критиковал либералов, а после создания «Союза 24 февраля» сразу же в него вступил.

Дело, думаю, не в неискренности Левенталья, в которой его принялись обвинять; дело в столкновении двух логик. Логика книжного рынка и логики происходящего в последние годы (и не только в России) правоконсервативного поворота, с его этатизмом и упором на внерыночные методы. Логика книжного рынка требует выпускать тексты, способные привлечь как можно более широкое читательское внимание, пусть даже скандальное. Правоконсервативная логика требует подобные тексты как раз *не* выпускать, либо жестко цензурировать.

И совмещать эти две логики становится всё труднее.

¹ ВЦИОМ представляет данные о том, кого россияне считают политиком, спортсменом, артистом, музыкантом, писателем уходящего года // Сайт «ВЦИОМ». 26 декабря 2026 г. (URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/lyudi-goda-putin-plyushhenko-polishhuk>).

Как всё это повлияет на формирование литературных репутаций и известность тех или иных писателей, сказать сложно. Будет ли вообще выдвижение каких-то имен в «современные классики»? Пока, за исключением Прилепина, это не очень заметно.

За последние годы, по сути, в этом смысле вообще мало что изменилось.

Простое сопоставление. В ноябре 2013 года на встрече президента с литературной общественностью на сцену были посажены не крупные современные литераторы, а потомки великих писателей (ситуация, совершенно не представимая, если бы встреча была, скажем, с музыкантами или театральными деятелями); в ноябре 2025 года, в состав правления обновленного Союза писателей России вошли... нет, писатели, само собой, вошли — но одновременно и известные представители театральных кругов, кинематографа, тележурналистики. Видимо, опять же, для привнесения недостающего символического капитала. В других творческих союзах подобное представить сложно.

Но, возможно, это и неплохо. Бывают обстоятельства, когда лучше быть «не очень знаменитым». Или, еще раз процитировав классика: «Иные, лучшие, мне дороги права;/ Иная, лучшая, потребна мне свобода:/ Зависеть от царя, зависеть от народа — Не всё ли нам равно?..» Но это уже, повторяюсь, дело личного авторского выбора.

Борис Минаев

Дон Кихот из Рыбинска

Так совпало, что одновременно появились или «вышли в свет» театральная премьера и сериал, где главные роли исполняет артист Тимофей Трибунцев.

Как-то раньше я о нем ничего не знал (поскольку российские сериалы практически не смотрю, да и в театре он мне не попадался). Надо сказать, знакомство получилось оглушительным.

Тут можно было бы просто написать «потому что актер гениальный», но в театральных рецензиях так писать не принято, и я скажу по-другому.

Трибунцев поразил — и поразил именно тем, что и забулдыга-журналист из Рыбинска, которого вдруг стали посещать «видения», связанные с убийствами (ну дурацкий же сюжет, согласитесь), и всем нам знакомый рыцарь печального образа действительно оказались людьми одной конструкции, одного материала, одной внутренней пружины — и исполнитель обеих ролей это блестяще доказал.

Режиссёр сериала «Подслушано в Рыбинске» Пётр Тодоровский-младший (то есть внук классика Петра Ефимовича Тодоровского и сын Валерия Тодоровского) и автор сценария Иван Баранов (в соавторстве с режиссёром) — создали не просто увлекательное и трагикомичное зрелище, они всю эту жестокую и неправильную картину нашего российского мира превратили каким-то волшебным образом в правильную: в ту картину, где есть место и любви, и нежности, и где люди, преодолевая обстоятельства, чем-то реально жертвуют ради других и на что-то надеются.

Если одним предложением, они создали ту картину мира, в которой *нет безысходности*.

Для одних такая задача сама по себе кажется абсурдной, для других — считающих, что наша страна впереди планеты всей, даже этот заход содержит в себе немало крамолы. То есть тут важна мера, пропорция.

Я не буду, конечно, пересказывать замысловатые сценарные ходы «Подслушано в Рыбинске», скажу лишь одно: для того, чтобы люди, из нашей суровой российской реальности, как сейчас говорят, «вскрылись», чтобы в них проступило всё это «человеческое», проступило сквозь вину, сквозь стыд, сквозь отчаяние, — им был нужен настоящий сумасшедший.

Окончательно отвязавшийся от социальных связей и социальных правил, но не отказавшийся от своего личного понимания мира.

Разве не то же самое происходит и в «Дон Кихоте»?

«...В органическом, произвольном процессе творчества гений помимо воли, *помимо сознания* неожиданно для самого себя приходит иногда к таким комбинациям чувств, образов и идей, глубину и значительность которых дано оценить только

отдаленным поколениям читателей. В этом смысле поэт носит в своей груди не только прошлое, но и неизвестное будущее всего человечества», — писал о Сервантесе Дмитрий Мережковский.

Наверное, в разные эпохи Дон Кихот был нужен русскому обществу по-разному. В далеком XIX веке — думаю, как «символ веры» всех оппонентов тогдашнего режима, антагонистов российского устройства жизни, казавшегося незыблемым. Как *alter ego* Герцена и Добролюбова, Желябова и Перовской, целого поколения «народников» и борцов, которые отчаянно сражались с ветряными мельницами из поколения в поколение.

В культуре сталинской эпохи он олицетворял ценности официального «гуманизма» в борьбе с «феодализмом» и прочими измами, помогал приспособить под советские клише всю историю Европы.

Мещане, обыватели позднесоветского розлива, номенклатурщики и винтики системы — во всех них целился своим длинным и острым копьём «Человек из Ламанчи», один из главных спектаклей «шестидесятников».

При этом с песнями и танцами — то есть открывая зрителю совершенно другой театр: театр веселья и импровизации.

Сегодняшний Дон Кихот — совсем другой.

И здесь я снова должен вернуться к Тимофею Трибунцеву, исполнителю главной роли. Потому что спектакль, поставленный Антоном Фёдоровым в Театре Наций, относится к тому разряду, надо сказать, любимому мной, когда *другой* актёр на сцене просто невозможен, и вся структура, все линии, вся палитра красок создателей спектакля — держится именно на одной личности.

...Он очень страшный и в то же время неуловимо трогательный.

Как и в любом настоящем клоуне, в этом актёре присутствует и безумие, и добрая вера в лучшее (а амплуа тут именно клоунское, и думаю, совершенно не случайно сам облик исполнителя противостоит привычным клише советского театра и кино — высокий, с длинными усами, нелепый и добрый дедушка, нет, Трибунцев именно «злой клоун», с «диким глазом», маленький и дерганый, с кровавыми тампонами в носу). Да, смешение разных начал. Но только это смешение — оно не константа, а происходит прямо на наших глазах, и вот в пробирке, которая и кипит, и булькает, и переливается разными красками, — происходит постоянное перерождение Дон Кихота.

И это, кстати, очень важный шаг в понимании образа: если в том, «старом „Дон Кихоте“» мучительная реальность разбивалась о неизменные «рыцарские ценности», то в спектакле Фёдорова Дон Кихот меняется сам в зависимости от ситуаций, причем сам же их и создает.

Если в семнадцатом веке Сервантес брал за основу пародию на рыцарские романы, то в двадцать первом — автор спектакля о Дон Кихоте «сегодняшнем» берет за основу бандитский кинематограф, гангстерские саги, приключения героя, вооруженного пистолетом. (Многие критики пишут об аллюзиях к фильмам Тарантино, мне вот как-то такие сравнения не приходили в голову, когда я сидел в зале, никаких отсылов и аллюзий я не нашел, всё сделано здесь и сейчас).

Да, герой Трибунцева бродит по сцене с пистолетом и даже порой стреляет, берет в заложники посетителей обычной прачечной, приходящих сюда привести в порядок свою одежду, — наркомана, проститутку, да просто обычных людей, чтобы заставить их играть в свою игру, и в первой части он предстает настоящим маньяком, — пусть это маньяк «высокой идеи», но это в первую очередь маньяк.

Верней, *кажется* таким.

Удивительно, что, поменяв буквально всё, режиссёр оставляет своих героев в выдуманной Испании, на сцене даже появляются персонажи-бандиты, пародийно говорящие на псевдо-испанском языке, тут и прачечная «не наша», и улица «не наша», и всё «не как у нас», за исключением самого Дон-Кихота, потому что более «русского» актёра, чем Тимофей Трибунцев (особенно после «Подслушано в Рыбинске»), я и придумать себе не могу.

Ну, наверное, выдуманный мир легче кроить и клеить заново, да и странно было бы (наверное) помещать Дон Кихота буквально в российский социум, хотя...

Замечу на полях, про «клеить и кроить», что спектакль в этом смысле абсолютно «ручной работы», то есть режиссёр не просто сам создавал костюмы для всех персонажей, придумывал всё пространство спектакля и его мельчайшие детали, именно как художник (он и в официальной программке обозначен в двух этих ипостасях), не просто вместе с художником по свету Игорем Фоминым и мультипликатором Надей Гольдман создавал невероятно сложную визуальную палитру, — спектакль в принципе наполнен и даже слегка переполнен находками, шутками, приёмами, маленькими новеллами, микро-историями, это целый мир, далеко не просто устроенный и не такой уж однозначно-понятный для восприятия.

Так вот, что касается выдуманной Испании в спектакле.

Мне кажется, она и появилась на сцене, такая яркая, «не наша», — чтобы на контрасте подчеркнуть, что спектакль именно о России.

Но что же здесь русского?

Во-первых, образ человека, который под дулом пистолета загоняет человечество к счастью, к «правильным» ценностям и к идеальному устройству жизни. У каждого из нас возникнут свои аллюзии (вовсе не тарантиновские), но все они точно из нашей истории.

Во-вторых, обращением к «маленькому человеку», который пытается быть большим, а в этом спектакле целая галерея образов несчастных маргиналов, убогих простаков, с трудом выживающих в этом «прекрасном новом мире», созданном современной цивилизацией, попросту раздавленных ею. (И здесь я бы обязательно отметил, конечно, Семёна Штейнберга, Артёма Шевченко, Марию Лапшину, Наталью Рычкову, Сергея Шайдакова — без всех тех, кто постоянно присутствует на сцене, даже порой бессловесно, невозможен и сам Дон Кихот.)

Однако «маленькие люди» есть везде, но почему-то не покидает ощущение, что они именно «наши», — почему? Может быть, дело в их «выученной беспомощности», то есть привычке *так* жить?

Ну и наконец то, что преображает спектакль и неожиданно выравнивает его смыслы.

Две встречи Дон Кихота с «внешним миром», которые становятся для него подлинным потрясением.

Это встреча с «настоящим рыцарем» Карденьо (Андрей Максимов), огромным бойцом в доспехах, пахнущим порохом и железом, — практически «машина для убийства», он, конечно, тоже пришелся ко двору в современном мире. И несмотря на «душевные порывы» он именно страшен, а не смешон (оказывается, рыцари существуют, но они совсем другие — вот потрясение).

И это встреча с Герцогом и Герцогиней (Алексей Чернышов и Анастасия Светлова). Как и в романе, они играют с Дон Кихотом, притворяются, что согласны с ним во всём, в конце концов, издеваются и ёрничают.

Но тут, в спектакле, происходит нечто особенное: режиссёр как будто отдирает с треском скотч, скрепляющий условность и реальность, и получается, что на сцену вышли сегодняшние богатые, сидевшие в зале рядом с нами, купившие билет таким образом, чтобы оказаться на сцене, рядом с героями, рядом с «Дон Кихотом». Интерактив! Мы можем только догадываться, сколько стоит такой билет, но дело не в этом — они настоящие!

Это очень узнаваемые персонажи. Буквально из нашей жизни.

Для них (в первую очередь для роскошно одетой и прекрасно выглядящей Герцогини) эта «рыцарская история» прежде всего забавный трюк, аттракцион, развлечение, товар.

Своим восторженным смехом она уничтожает Дон Кихота, все его идеи и мечты, как из огнемета.

Богатство и власть вытесняют со сцены и искусство, и жизнь.

Богатство и власть — то главное, что самой жизни противостоит, по Антону Фёдорову.

И делает он это очень ярко.

В этом двойном зеркале Дон Кихот вдруг оказывается другим.

Вовсе не маньяком. Вовсе не злым клоуном.

Вовсе не безумцем с пистолетом, берущим в заложники несчастных героев «прачечной».

Если он и маньяк, то только своей идеи — как и сказано в начале, — сделать мир таким, чтобы в нём было место любви и нежности, и где люди, преодолевая обстоятельства, чем-то реально жертвуют ради других и на что-то надеются.

Имеет ли право Дон Кихот кого-то убивать ради этой идеи? Конечно же, нет.

Имеет ли он право страдать и погибать ради нее? Конечно же, да.

Какой же он на самом деле? Мы не знаем, мы ждем продолжения, мы верим в то, что изменится наш мир.

В лучшую сторону.

Summary

Alexei Ivanov. The Formula of the Moscow Morning

"We, half-baked Muscovites, "renegades" from Petersburg-Leningrad were walking to get acquainted with Moscow and admired it. We liked everything: crooked streets going up and down — a wonder for Peter, old Moscow mansions with family monograms on the facades, the tangle of Basmanij bystreets..." In this long short story the protagonists are travelling through time and circumstances of the past life and through the political twists and turns.

Nickolay Verevchkin. A Hut in the Walnut Grove

"A sad beauty, the gloom of loneliness, the bitter flavor of detachment wafted from the abandoned dwelling... Under the jar with a candle there was a yellowish piece of paper: "Welcome, the kind person! Take a rest, feel yourself at home. When leaving don't forget to shut the door". The host has left his hut long ago, probably he is not among the living already but his invitation is here. The story is about the fullness and fragility of life. The watercolor writing of the author refers to Paustovskij and Kazakov.

Poetry

The lyrical miniatures of Alexej Alyokhin aphoristic, light, ringing like "notes out of the air" are about creation, people's fates and life which is no less but also no more than "inhale and exhale".

Evgeinij Dyakonov and Olga Sulchinskaya's poems are about love.

The poet from Kazakhstan Zair Asim in his philosophical vers libre is meditating over "the life of the memory" and makes a paradoxical conclusion: "The memoirs are given us for not to remember".

Alexander Vaskin. The Generation of "Santa-Barbara"

Two pictures from the kaleidoscope of the "dashing nineties".

Watching "Santa-Barbara" became a part of the everyday life. There were even anecdotes. The wife tells her husband: "I'll go to live at Santa-Barbara!" The husband answers: "How are you going to live there? You even don't know the language". "But at least I know everybody there!"

1998. Alexander Solzhenitsyn refuses to receive the highest award of the state the Order of St Andrew the First-Called: "I can't take the award from the supreme authority which has brought Russia up to the present disastrous condition".

The culture of the "dashing nineties" differs from the eras of stagnation and thaw sing by the fact that it is very difficult to be structured, — asserts the author.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России — ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**7/2025**

Читайте:

Владимир Лим. Последнее кочевье. Роман

*Они шли колонной на бронетранспортёрах и грузовиках по дороге к Панджшерскому ущелью, и он думал, как нагрузит это слово смыслами, подскакивая на ухабах, когда моджахеды выбили первую и последнюю машины и стали поливать их, словно беззащитных зверей в клетке, из пулемётов и русских «калашей», продолжая выбивать гранатомётами, одну за другой, боевые машины, и он побежал за всеми. Майор, только что сидевший рядом с ним, стоял теперь возле перевернутой взрывом машины и что-то кричал ему или в рацию, а он рвался бежать прочь от этого страшного места, ему, как и всем пацанам, очень хотелось жить, и когда майор упал, он побежал дальше, к скале, и переставлял ноги до тех пор, пока вдруг ясно, как будто с него спала какая-то пелена, не понял, что он **проклятый трус**, и с этим ему придётся доживать свою **поганую трусливую жизнь**. И он развернулся, закричал что-то солдатам, подобрал брошенный кем-то автомат, побежал навстречу пулям, они свистели над головой, щёлкали о камни, обходили, облетали, словно заговорённого, и оттащил майора за дымящий бронетранспортёр, а потом с размаху кинулся под грузовик, в эту жуткую чёрную дыру в приподнятом углу расплющенного кузова, откуда уже никто не выползал. И поэтому запомнил, что грузовик лежал кверху колёсами, и колёса эти бешено крутились.*

